

Приватний
історико-краєзнавчий
та
літературно-
мистецький
журнал

3 (42) 2012



Журнал заснований 19 серпня 1991
року Валерієм Басировим

УНОМЕРІ:

ЮВІЛЕЇ	Лев РЯБЧИКОВ...3 Сергій ПРОХОРОВ...7
ПЕРЕКЛАДИ	Тетяна ВАРФОЛОМЄЄВА...20
ПОЕЗІЯ	Юрій ПОЛЯКОВ...18
ПРОЗА	Валерій БАСИРОВ...25
ПУБЛІЦИСТИКА	Наталя ЛАВРЕЦОВА...42
НАШІ ГОСТІ	Микола ЄРЬОМІН...37 Олександр КОБЕЛЄВ...40
ПОСМІХНИСЬ	Анатолій ГОРБУНОВ...59 Олександр РУДЬ...62



Сімферополь
2012

Головний редактор
Валерій Басиров

*Журнал зареєстрований
Держкомвидавом України
08. 06. 1994 року.
Серія КВ № 697*

*Обкладинка художника Тараса Андрійчука
(м. Хмельницький)*

*Підготовлено до друку
та віддруковано
у комп'ютерному центрі
видавництва "ДОЛЯ":
Україна, АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Виноградна, 22, тел.: (0652) 57.30.01*

*Редактор третього числа часопису
Ольга ПРИЛУЦЬКА*

*Журнал виходить українською, російською,
англійською, польською мовами.
Розповсюджується на замовлення.
Точка зору редакції може не співпадати з думкою авторів.
Відповідальність за достовірність фактів несуть автори публікацій.*

70 лет Льву Анатольевичу Рябчикову

Новую книгу стихов Л. Рябчиков назвал оригинально: $\frac{7}{10}$ века

Семьдесят творений разных лет

Президент Крымской литературной академии, лауреат международной премии имени М. А. Шолохова, заслуженный деятель искусств АРК Лев Рябчиков с помощью друзей, почитателей его творчества отобрал для этого сборника, который вышел к 70-летию со дня его рождения, семьдесят стихотворных произведений. Они были написаны талантливым русским поэтом в разные годы прошлого и нынешнего веков и знакомы читателям по книгам “Избранная осень”, “Прощеное воскресенье”, “Одинокий ангел”, “Свет дожда”, “Радость грусти”, “Ты — дождь”, “Свежесть” и другим изданиям. Каждый раздел (от “Шестидесятых” до “Десятых”) включает творения соответствующего периода. В последнем представлены также стихотворения, созданные недавно и еще не публиковавшиеся.



В подборку для журнала отобраны несколько произведений из книги Льва Анатольевича.

Редакционный коллектив искренне поздравляет Поэта с юбилеем, прошедшим 13 июня 2012 года!

Лев Рябчиков

ОДИНОКИЙ АНГЕЛ

Чистый свет Рождества,
 словно снег,
 ветер кружит над сном и ковылью.
 Надо дать своим чувствам разбег,
 чтоб понять: это — Ангела крылья.
 Небожителя первого ранга...
 Между Ялтой, Таманью и Тверью
 наш единственный
 нежный Ангел
 распушил свои снежные перья.
 Наш последний крылатый хранитель
 и ходатай за нас перед Богом.
 А когда-то в Господней Свите

наших Ангелов было много.
 Мы их сами — безумством и пьянством,
 обращением ересников в дым —
 оттолкнули в иные пространства
 покровительствовать другим.
 И один он прикрыл нас крылами,
 как наседка увечных птенцов,
 не надеясь, что сможем мы сами
 избежать грешной смуты отцов.
 Но дискеты людского генома
 не загружены до конца —
 так и тянет проникнуть в них с ломом
 и подправить Программу Творца.
 И уже подправляют ломами,
 предрешая летальный исход...

Но останется Ангел с нами,
даже если Господь отзовет.
Удивляет приверженность эта,
добровольный его полон.
Может, бьётся в нём сердце поэта?
В наших женщин он, может, влюблён?
Движет, видимо, им состраданье
к депортированным из Рая
в страхе смерти — во наказание —
жить, рождаясь и умирая.

Вижу часто его из окон
в перелёте на север, в глушь...
Как, должно быть, ему одиноко
среди наших безмолвных душ.

Алёне Антоновой

Снова тянет на родину волглую,
В приснопамятные места,
Где всегда над раздольною Волгою
Ветры шало в два пальца свистят.
Вспоминается (или мерещится?)
То, что вряд ли возможно избыть, —
Малокровная жизнь помещичья,
Полнокровный купеческий быт...
И густая толпа богомольцев,
Отстоявших заутреню в храме.
Купола, золочёные солнцем.
Лик Спасителя в светлой раме.
Я и сам постоял бы в притворе,
Мысли грешные погася,
Чтоб расслышать в церковном хоре
Райской свежести голоса.
И, затеплив свечу пред иконой —
Утолительницей печалей, —
Помянул бы молитвой покойных,
Всех, ушедших в зазвёздные дали.
Я и сам скоро следом за ними
Испытаю пе-ре-ме-ще-ни-е
За черту, где мы будем нагими
Ждать грехов наших тяжких прощение.
По обычаям предков, начертанных
На скрижалях памяти генной,
На закате б побыть вином черпием,
Напоившим всех влагою пенной.
На закате побыть надо б странником,
Не особо стеснённом в средствах,

Чтоб ступить на дороги ранние,
Проторённые в смуглом детстве.
Чтоб взбежать по ворчливой лестнице
В наш давно уж разобранный дом,
С моей бабушкой — благовестницей —
Посидеть, как бывало, вдвоем.
Я согласен на вечность молчания
Рядом с нею
перед уходом...
Чтоб понять —
жизнь была примечанием
К пережитому в ранние годы.

Лапы ёлок,

лапки, лапушки...

Всё в снегу,

а тёплые какие!

Будто в гости

к старой,

старой бабушке

Я

вчера

приехал в Киев.

Владимир Маяковский

Несомненно, он вечен, как Рим,
И к холмам, как и Рим, приторочен.
Тут положено жить Турбиным,
Как Булгаков им напророчил.
С украинскою русская речь
Здесь в обнимку гуляют широко...
А иначе и Днепр

надо было б отсесть

От его старорусских истоков.

Нет уж. Город,

родивший культуры Руси

И питавший культуру России,

Не позволит отвратность вносить

В нашу миссию и в Мессию.

И его

колокольни с холмов

Накрывают малиновым звоном,

Чтобы нечисть и нежить, халом*

* Халом — бесстыжий человек, наглец, враль.
(Толковый словарь живаго Великорускаго языка — словарь, составленный Владимиром Ивановичем Далем в середине XIX века).

Не проникли в заветную зону,
 Где храним заповедную Русь,
 Русский дух, его Силу и Крепость,
 Наши Мудрость, Судьбу, нашу Грусть,
 Нашу Лепость и нашу Нелепость —
 Чем сильны с изначальных веков,
 Что спасло нас в потопах нашествий.
 Вот и нынче, в оплетках оков,
 Отстранясь от погрязших в бесчестье,
 Бережём мы старинную Честь,
 Веру прадедов наших былинных.
 Греет сердце Благая весть
 На холмах и в Днепровской долине.
 Сотни лет, как с Москвой он обвенчан,
 Хоть сюжетно их сложен роман.
 Как Москва и как Рим, Киев вечен,
 Как они, приторочен к холмам.

Хрустят протяжно, всем лицом,
 На перегонах
 и перронах
 Прохладной плотью огурцов,
 Их спелостью зелёной.
 И нам её преподнесут,
 Как выйдем по просёлку
 Из одиночества в лесу
 На одиночество посёлка
 И куковать, и вековать
 С бутылкой водки горькой
 Повалимся, как на кровать,
 На лебеду пригорка.
 Как сладко горьким огурцом
 Приправить горечь стопки,
 А после, кожу сняв кольцом,
 Догрызть его до попки.
 И сразу зелень огурца,
 Как медницкая грязь,
 Проникнет в трещины лица
 И водоёмы глаз.
 Народ слиняет поскорей,
 Крестьясь и чертыхаясь,
 Нас, как зелёных упырей,
 До тошноты чураясь.
 Вот так и мы от них уйдём —
 В себя, как в лабиринт,
 Наматывая на надлом
 В зелёнке мытый бинт.

И на стволы
 в пустой аллее
 Дожди,
 как псы,
 помочатся.
 О, как протяжно одиночество!
 Как зов
 оленя.

СВЕТ ДОЖДЯ

Весь март текло
 то с крыш, то с неба.
 По настроению Весны
 Текло в горах, ей на потребу,
 В полях и в сумерках лесных.

Всё мокло, прело, разъезжалось,
 Потело сыростью реки,
 Возможно, с целью вызвать жалость,
 А, может, — зрителей хлопки.

Но в этой слякоти и грязи
 С душком приметно полостным
 Не то что зрители — КамаЗы,
 Как насекомые, ползли.

От сырости и от простоя
 Разбух до треска чернотал...
 И вдруг в невидимом просторе
 Незримый дождь залепетал.

Вначале шёпотом ребёнка,
 Проснувшегося в ранний час.
 Потом погромче. Громко. Звонко.
 И каждой капелькой свечась.

И развиднелось. Стало проще
 Дышать и по земле ступать.
 Из мрака выпущенной роце
 Настало берестой светать.

Настало речке оклематься
 Для отражения дождя,
 Воды и света панибратство
 И пресекать, и возрождать.

Как бы предтеча дней горячих,
 Дождь обдавал весь мир теплом.

Грязь вывозил на рыжей кляче,
Смывал в овраги бурелом.

Он до бела отмыл дороги,
Смыл с окон все остатки сна,
Чтоб, оголив живот и ноги,
Прошлась по улицам Весна.

В. В. Аверкину

Осень пахнет прогорклой травой,
мокрым дымом, соляжкой, расстрелом...
брызжет кровь... вновь идёт мордобой,
как обычно, в толпе, — неумелый...
повелось так в России:
октябрь
кровью
вечно
заляпан,
как по грязи бредущий этап,
растаскавший по брёвнышку запань,
искривлённые лица рабов,
запах пота
и тления
под нависшими глыбами лбов —
только ненависть и озверение...
но откуда прибавится сил —
глотки
в крике разверзнутся матерном —
лишь бы кто-то провозгласил:
разнесём этот мир к такой матери!
И умоется кровью конвой,
ляжет в землю — лицом изувеченным,
и, заткнув рот вонючей травой,
изнасилуют первую встречную,
и, убив, в лоно грязи нальют,
изуродуют грудь её нежную...
Снова осень. Октябрь. Танки бьют,

как при Сталине, как при Брежневе...
А на крыше, прижавшись к трубе,
сквозь трубу
снайпер в лоб тебе целится...
Кто-то станет рыдать о тебе...
Но теперь даже слёзы не ценятся.

Не в Пушкине всё дело — дело в нас.
В способности
с рассветным вдохновеньем
В созвучие с поэтом впасть —
Не надо на всю жизнь, а на мгновенье.

Мы не проникнем в тонкие миры,
Но ощутим тепло горенья.
Пусть нас накроет тень горы,
Чтоб мы побыли тоже тенью.

Но смысл не в том. Не следует спешить
Воображать волненья эти,
А ощутить мембранами души
Движения души Поэта.

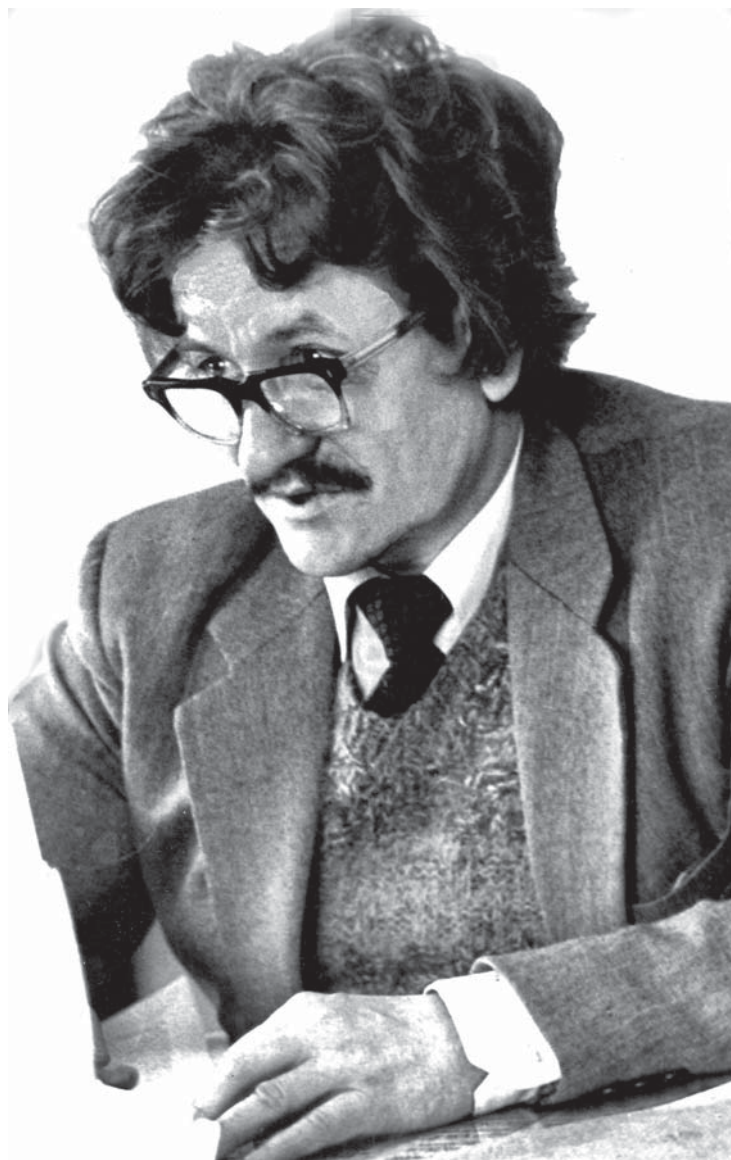
Что создано в душе — к душе и перейдёт,
Творенья разума войдут
в собранье Духа.
Перенесёт туда и утлый плот,
Оглохший звук и тот дойдёт до слуха.

Поэзия — всегда Благая весть,
Что чувствам и уму — жить вечно.
А тем, кто ими жил, — всегда любовь
и честь,
Как их судьба не склалась б поперечно.
И выстрелы, ударившие в них,
И в каторжном забвении истленье
Оборотят их вещей стих
В крылатое стихотворенье.

70 лет Сергею Тимофеевичу Прохорову

Не так давно, благодаря автору нашего журнала Владимиру Корнилову из города Братска Иркутской области, мы открыли для себя интереснейший журнал «Истоки». Журнал, который издается в Красноярском крае, в таежном поселке Нижний Ингаш. Мало кто знает в России, не говоря уж о других государствах, этот небольшой населенный пункт. Провинция... А «Истоки», по справедливому определению известного советского русского поэта и переводчика, лауреата Международных премий, почетного профессора Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова, Члена Совета Старейшин Союза писателей России Олега Шестинского (1920–2009), — «детиче провинциальных энтузиастов-словесников». Не случайно стихотворением «Дума провинциала» навел на глубокие размышления Олега Николаевича поэт-сибиряк Сергей Прохоров при первом их творческом знакомстве. «Провинциал! Нередко вышмякивалось высокомерное суждение нашими столичными «высоколобыми»: мол, провинциальное — суть нечто недоразвитое, мало смыслящее. Укореняли такое понятие пустобрехи, рассчитывающие на признание своего превосходства над коренной, провинциальной Россией лишь по случайному своему местожительству.

И, может быть, как никогда мы прозреваем, что сегодня именно провинция, в силу своей святой консервативности бытия, менее, гораздо менее, чем городская среда, подвержена растлению всевластного распутства и безмерной наживой, гнилоственному дурману казино и вертепов-борделей, оглушительной трескотне лукавых митингов прозападных либералов, заказным убийствам на улицах... Да, именно провинция, страдающая своими хворами провинция, все решитель-



ней становится надеждой России. Провинция проявляет себя моральней, устойчивей, она рвется из порочного круга озлобленности, она исторически более основополагающе привержена российской государственности и православию, как важнейшей скрепе национальных ценностей», писал Олег Шестинский в 2007 году о журнале «Истоки». Может быть, по той же причине — то ли в шутку, то ли в серьез — земляк «Истоков», выходец из Красноярского края, губернатор Московской области, в недавнем

прошлом министр МЧС России Сергей Шойгу предложил перенести столицу государства в Сибирь?

Журнал же, основанный в 2006 году, по словам члена Союза Писателей СССР с 1981 года, писателя и поэта из Красноярскa Николая Ерёмина, «приобрёл популярность от Владивостока до Санкт-Петербурга, потому что имеет своё лицо. К «Истокам» неспроста тянутся и молодые авторы, и писатели обоих крыльев Союза писателей, так как лучшие произведения находят здесь себе место. «Истоки» стали известны всей России, потому что у основателя и главного редактора журнала поэта Сергея Прохорова хороший литературный вкус и душа нараспашку».

«Обозревая густой лес, шуршащий на ветру ветвями, оцениваешь его не по чахлым осинкам, принявшим к болотцам, не по колючему кустарнику, не по плакучим ивам, бессильно склоненным над тенистым озерцом, а по слепящей белизне берез, по мохнатой, орлино-раскидистой хвое могучих елей, по застенчивой и нежной прелести рябин.

Думаю, что и поэтические книги следует оценивать не под прицелом мелочных упреков, не в равнодушном выискивании просчетов, но в мучительно-искреннем обнаружении того чистого и светлого, того потаенного и ненавязчивого, того желанного, что тебе близко и дорого самому. И если ты открываешь эти качества в книге, открываешь бесспорно и утвердительно, то понимаешь, что в книге заложена нравственность, на которой только и может зиждиться искусство». Вот такие мысли навеяла на умудренного жизнью и опытом литератора Олега Николаевича Шестинского в 2007 году книга Сергея Прохорова «Земное притяжение», с которой началась их творческая дружба.

А Владимира Васильевича Корнилова с Сергеем Тимофеевичем Прохоровым связывают не только творческие узы. Их человеческой дружбе уже более сорока лет. Поэтому естественно, что в канун семидесятилетнего юбилея поэта Сергея Прохорова (16 июля) о нем рассказывает член Союза писателей России, член Международной Гильдии писателей, член Союза журналистов России, член Международной Федерации русских писателей поэт **Владимир Корнилов**.

РОМАНТИКА ДУШИ И ПЕСНИ СЕРДЦА

Как это было давно... и вроде бы совсем недавно, когда я впервые познакомился со стихами бывшего моряка Тихоокеанского флота Сергея Прохорова, прочитав их в Нижнеингашской районной газете «Победа» в конце 60-х. Сколько в них было поэтической мощи и юношеского романтизма, которые сразу же покорили меня, начинающего в то время стихотворца!.. Какой незаёмный, самобытный язык!.. Я на всю жизнь запомнил те его строки:

Не говорите, что море — романтика —
С криками чаек, с безбрежностью сини.
Море, как высшая математика,
Которую слабому трудно осилить...

...Море — движение, море — работа.
Ему не присуще спокойствие старости.
Море есть формула соли и пота,
Упорства, отчаянья и усталости.

Как поэтически верно и философски метко нарисован образ морской стихии! И читатель, думаю, с первых же строк стихотворения на слово поверит душой поэту, повествующему о тяготах морской службы, о кровном братстве единой корабельной команды...

Было в той газетной подборке много и других, запоминающихся своей поэтической свежестью стихов.

Кроме газетных публикаций, имя Сергея Прохорова, как поэта, было уже известно далеко за пределами родного района. Его стихи и песни неоднократно звучали в то время по Красноярскому краевому радио.

Вскоре состоялось и наше знакомство с Сергеем, связавшее нас на долгие годы творческой дружбой. В то время я служил в рядах Советской Армии, сочинял стихи. Узнал о том, что в Нижнем Ингаше при редакции газеты «Победа» существует литературное объединение «Родник». Моя часть располагалась в семи километрах от поселка. В редакцию меня отпускали не более чем на 1,5 – 2 часа, включая дорогу туда и обратно. Но до чего же интересно было хоть ненадолго встретиться с

замечательными поэтами Николаем Ерёминым, Сергеем Прохоровым, Екатериной Данковой, Николаем Никоновым и Григорием Желудьковым! Я погружался в мир духовности вместе с талантливыми людьми, создававшими литературные странички в газете.

С тех пор в Красноярске у Сергея Прохорова вышло около десятка поэтических сборников, которые сразу же обратили на себя внимание критиков и известных в литературном мире корифеев, таких как Николай Ерёмин, Анатолий Буйлов, Олег Шестинский, Валерий Сдобняков, Анатолий Третьяков и других.

Анализируя поэзию Сергея Прохорова, вижу, как много в ней поэтических исканий и раздумий о жизни. Как образен и напоен поэзией язык его стихотворений о красоте сибирской природы, о неповторимости времен года. Иллюстрацией этому служит великолепное стихотворение «Зимний вечер»:

Метет метель, не ленится, —
Сугробы там и тут.
Березовой поленницей
Спасаюсь от простуд.
Огнем веселым плещутся
В моей печи дрова,
И чудится, мерещится
Зеленая трава,
Усыпанная росами
Предутренней зарей...
По ней ногами босыми
Шагают косари...

Не менее интересным в смысле мировосприятия поэтом является и стихотворение «Лесной художник»:

Январский лес такой белёсый, —
Опять смелярничал мороз,
И даже белые берёзы,
Белей, чем мой замерзший нос.
.....
Но, зачарованный красую
Картины мастера-творца,
Я постою. Пусть дорисует,
Всю дорисует до конца.

А как гармонична в поэзии Сергея Прохорова душа простого труженика, которая

помимо восторга от окружающей ее красоты, не забывает и о насущных житейских проблемах. Характерным в этом плане является стихотворение «Какие нынче выпали снега!»:

Какие нынче выпали снега! —
За три зимы не навалило б столько.
Стоят сугробы высоко и стойко,
Как пирамиды, вперясь в облака.
А снег идет, и нет ему конца.
Он завалить собой всё угрожает.
Вздохнет мужик:
«Быть нынче урожаю!»
И заскрипит лопатой у крыльца.

Дух романтики, о котором говорилось вначале, у Сергея не выветрился с годами, а стал в его более поздних книгах еще обостреннее. Душа поэта, познавшая за жизнь романтику нелегких дорог и бездорожья, наполнилась особым звучанием, вобравшим в себя все непреходящие ценности, такие понятия как Родина, отчий порог, простое человеческое счастье и радость земного бытия... Как удивительно об этом сказал он в стихотворении «Банное счастье»:

Как много я в жизни бродяжил по свету,
А где, не припомню порой.
Но точно я знаю — дорожке мне нету,
Чем с детства родимый порог.
Откроешь калитку — душа оборвется,
А в горле от радости ком.
И лаем собачьим округа зальется,
И банным потянет дымком.
... А ну-ка, бездельник, березовый веник,
Пройдись по моим телесам.
Есть счастье без денег,
И в это я верю,
Как многим другим чудесам...

Не растеряв веры в светлый грядущий день, в торжество жизни, Сергей, однако, не остается таким романтическим созерцателем, а с тревогой и неизгладимой болью рассуждает о своей многострадальной Родине, сумевшей освободить Европу от ига мирового фашизма. Но и после Великой Победы, по сей день, ее народ влачит нищенское существование, несмотря на огромные человеческие и

природные богатства. И это мы наглядно видим из его стихотворения «Как живешь ты, Россия-матушка?»:

...Как живёшь ты, Россия-матушка, —
 Победительница всех врагов?
 Только слышится голос матерный
 Разобиженных мужиков:
 — Вся Европа пышнее бёдрами,
 Краснощёкая, как заря.
 Видно кровь проливали ведрами
 Мы зазря...
 Проливали (пенять здесь нечего)
 За чужие мы города.
 Знать, судьба у России вечная —
 Среди сытости голодать.

Особым светом озаряется душа поэта при воспоминании им отчего дома. Тепло и по-сыновнему трепетно звучат тогда его строки:

Как часто в снах я возвращаюсь снова
 В мир детских грёз, где сказка не обман,
 Где теплой пеной молока парного
 На землю сходит утренний туман.
 Где в тополином пухе дремлет домик,
 В тени ветвей присевший отдохнуть,
 Где вся земля — огромнейший подойник,
 Куда весь день струится что-нибудь.

В эти годы по-особому воспринимает Сергей Прохоров и приход весны. Смолоду он, по его собственным словам, «немножечко баловался карандашом и кистью. Но путным рисовальщиком не стал — не хватило терпения и желания». Но, тем не менее, замечу, что в электронном журнале «Лексикон» (г. Чикаго, США) на вернисаже есть выставка его работ.

Как художник слова для выражения своих чувств он не позволяет себе использовать уже готовые образы и краски, применяемые мастерами отечественной поэзии, а густо замешивает их в своем неумном сердце, находя единственно точные для этого слова, высветляя строки стихов лучезарным весенним светом. Примером тому служат замечательные по художественной выразительности стихотворения «Рассвет. Весна.

Любовь», «Опять Весна вошла в кураж» и многие другие. Одно из таких стихотворений хочется проиллюстрировать:

ПОЗЫВНЫЕ ВЕСНЫ

Еще в снегах хозяйство всё лесное,
 Блестит на солнце свежая лыжня.
 А уж земля больна,
 больна весною

День ото дня.
 Еще февраль не раз себя покажет:
 И дикий нрав свой, и крутой каприз.
 Но в полдень вдруг сосулькою оранжевой
 Расцвёл карниз.

Не менее поэтично воспеты автором и иные времена года, в чем читатель сам сможет убедиться, открыв его книгу и найдя в ней стихотворение «Златоосень»:

То ли лебеди летели.
 То ли гуси,
 То ли ветры в поле пели,
 То ли гусли.
 Но неведомые звуки
 Волновали,
 И деревья, вскинув руки,
 Танцевали.
 И кружилась, и ложилась
 Тихо оземь,
 Обнажив златую жилу,
 Златоосень.

Но из разнообразных своих увлечений главными Сергей Прохоров считает музыку — гитара и фортепиано. У него великолепный голос, которым он исполняет песни собственного сочинения и созданные в содружестве с другими композиторами. Поэтому, помимо лирических стихов Сергея Тимофеевича, составляющих основу всех его книг, особо хочется отметить песенные циклы, написанные им за долгие годы (их у него около сотни), а также небольшие миниатюры, отражающие его взгляд на многие явления из нашей сумбурной жизни. С каким искромётным юмором, а порой и беспощадной сатирой, высмеивает он в них сегодняшние пороки нашего бытия, зачастую не щадя и своего лирического героя. Каждая такая

миниатюра — законченное ироническое или лирическое произведение, емко раскрывающее авторский замысел. Например:

Зима. Мороз с утра колдует,
Во двор не тянет нос совать,
А я иду с семьёй за Думу —
За власть иду голосовать!

Или:

Мой дед был скромным, знал предел,
Когда с гульбищ являлся:
Сморкался, кашлял и кряхтел,
И долго извинялся.

А вот блестящий образец миниатюры, в которой угадывается гармоническое единство физического состояния лирического героя и радостного предощущения им живо-творящей весны:

Всю ночь ломило кости,
Приметы все к теплу.
Весна стучится в гости
Дождинкой по стеклу.

Как я отмечал выше, особый колорит его поэзии придают песенные мотивы. Их душевный настрой созвучен с песенной душой русского народа. Ярким подтверждением тому служит «Песнь о ждущей матери»:

Провожала матушка
Сына за порог,
Пожелала матушка
Сыну сто дорог.
Все дороги светлые —
К счастью и добру,
А одну дороженьку —
К отчему двору.
Провожала — плакала,
Не жалела слёз,
Заклинала памятью
Голубых берез...
.....
Ждет, как утра светлого,
Сына у дверей...
Сколько же по свету вас,
Ждущих матерей!

Заканчивая свой короткий рассказ о жизни и творчестве Сергея Прохорова, я радуюсь за тех читателей, которым открыл давно уже известного поэта неординарного таланта и самобытности. Поэта, книги стихов которого не должны затеряться среди огромного книжного нала нынешней литературной безвкусицы и безграмотности, эротической многоголосицы и красивого словоблудия. Произведения Сергея Прохорова займут достойное место в современной словесности. Их тонкий лиризм и душевная искренность, объединенные глубокими философскими наблюдениями за жизнью, уверен, не оставят равнодушными своих собеседников и принесут им немало приятных, незабываемых минут от общения с прекрасной поэзией мастера Слова.

У судьбы ни пенсии, ни льгот,
Ни других каких-то привилегий.
С нею мне и трудно, и легко.
В чем-то с ней мы все-таки коллеги.

Приближаясь к своему юбилею, Сергей Тимофеевич Прохоров может гордиться тем, что он — член Международной Федерации русскоязычных писателей, автор восьми книг стихов и прозы, основатель и главный редактор сибирского литературно-художественного и публицистического журнала «Истоки». Его произведения напечатаны в журналах «Юность», «Великоросс» (Москва), «Вертикаль» (Нижний Новгород), «Рукопись» (Ростов-на-Дону), «Приокские зори» (Тула), «Наше поколение» (Молдова, г. Кишинев), «Простор» (Казахстан), «Новый ренессанс» (Германия), «Новый Енисейский литератор» (Красноярск) и других литературных изданиях.

Я рад, что теперь читатели журнала «Доля» смогут встретиться с поэтом и писателем из Сибири Сергеем Прохоровым. Думаю, многих и не раз восхитит он своим неотомимым творчеством:

Сколько скрытых сил ещё в нас спит!
И когда нам в жизни ставить точку?
Старенькое деревце скрипит —
К молодому тянется росточку...

Дом Серёжкиного детства

Переезд

Повозка, поскрипывая давно не смазываемыми колёсами, медленно поднималась по крутой дороге в гору, на которой по обе стороны московского тракта, размытого дождями и разбитого гусеничными тракторами и грузовиками, возвышалось, вцепившись крепко в землю, село в одну улицу с вязким названием Тины. Кобыла, подрагивая от напряжения крупом, тяжело отталкивалась копытами от песчано-глинистого покрытия дороги, волоча перегруженную телегу. На повозке, кроме домашнего скарба — стола, пары скамеек, старого комода, немудрёной кухонной утвари, котомок с одеждой и бельём, — громоздился тщательно уложенный воз сена. А на самом вершине воза восседал шестилетний мальчуган в длиннополой до колен холщёвой рубашке, прикрывавшей всю нижнюю голую часть тела. С лица мальчугана не сходила счастливая улыбка. Покачиваясь на вершине воза, он радостно и удивлённо смотрел вокруг, то и дело вертя головой во все стороны. Мальчугана звали Серёжа.

— Сиди спокойно, не вертись, а то свалишься, — полустрого, полузаботливо предупреждала сына Екатерина — черноволосая, лет тридцати пяти женщина, погонявшая вожжами кобылу.

Промычала корова, привязанная сзади к повозке. Послышались звонкие шлепки. Серёжа оглянулся на 180 градусов и увидел задранный кверху хвост бурёнки, а на дороге — три зелёных коровьих кружка.

«Это наша бурёнка тропинку к новому дому прокладывает», — подумал Серёжа и снова стал с интересом наблюдать, как крутая дорога, а с ней и гора начали понемногу выгибаться, выпрямляться, и повозка, наконец, въехала на почти плоскую вершину холма. Проехав ещё с полкилометра по селу, повозка свернула направо и остановилась у неказистого бревенчатого домика в два окошечка на улицу и одним во двор.

С прежнего места Катерине Алексеевой с тремя сыновьями пришлось съехать. Бывшая хозяйка дома, где они проживали, мужнина сестра — золовка Зоя, живущая теперь в городе, —

решила продать дом и попросила «вежливо» родственницу освободить её сельские хоромы. Погревав и помянув не раз неприличным словом «любимую» золовку, которую в сердцах называла почему-то Зуем Макарьчем, Катерина нашла недорогой домик за 120 рублей. Немного денег было на чёрный день, немного заняла. И вот своя собственная крыша над головой.

Но больше всех был рад переезду в новое жилище Серёжа. Старый большой дом, что остался внизу под горою, всегда вызывал в нём беспокойство. По ночам из-за реки, на берегу которой стоит это старое пятистенное строение, раздавался протяжный волчий вой, и Серёжа жался в страхе к своим старшим братьям и долго не мог заснуть. Спали обычно все на широкой лежанке русской печи. Там было уютно и тепло от нагретых кирпичей и не так страшно. Но с некоторых пор и печка в доме неприятно волновала Серёжу. Как-то братья устроили ему жуткое испытание. Расстелив на полу напротив лежанки соломенный матрац, они, раскачав младшенького за руки и ноги, сбрасывали его вниз, крича: «Серый, ты парашютист!» «Парашютист» орал от страха и больно шмякался на матрац. И однажды после этих ужасных парашютных прыжков повредил сильно руку. Мать, узнав про это, так отделала братьев, что они больше не приставали к Сергею, но зато оставляли его одного, убегая на речку.

А полгода назад Серёжа чуть было не сторел. Играл на полу у печи и не заметил, как из топки прямо на рубаху выпал огнедышащий уголёк, и рубаха вспыхнула, как берестинка. Пламя мгновенно обхватило всё тело. Серёжа, пытаясь сорвать с себя рубаху, пополз к двери, крича: «Мамочка, горю!»

Катерина собралась, было, идти в лес догребать оставшееся сено, замешкалась у свежего зарода, подправляя его. И тут до неё донёсся крик...

— Это меня Бог задержал, — говорила она потом соседям и подружкам. — Сторел бы мой сыночек вместе с домом.

Обмазанный весь глиной по советам знающих старушек, Серёжа пролежал более двух недель. Ожоги вместе с глиной, как берестинки от ствола, отшелушились, и кожа засверкала розовыми пятнами. Так что о бывшем доме Сергея не горевал, как мать. Да и та в заботах и хлопотах по устройству нового жилища задвинула в закуток души обиду на родственницу.

А вечером пришли в гости мамины подружки, принесли бражки, домашних разносолов, возмож-

ных еще в это голодное послевоенное время — квашеной капусты, огурцов, — и даже прихватили с собой музыку — балалайку. До полуночи пели песни, обсуждали новости сельской жизни, горевали о своей нелёгкой бабской доле. Как всегда, жалели его, Серёжу. Уже шестой год ему пошёл, а ходить до сих пор не может. На ноги встать стал уже в девять месяцев, а потом внезапно, после простуды, обезножил. Местные врачи ничего толком не определили, советовали везти в город.

Исцеление

На следующий день Сережа выполз на крыльцо нового дома. На соседском заборе он увидел девчонку с короткими косичками. Позавидовал: «Как она туда забралась?» И тут же смутился — девочка была в коротеньком платьице и без трусиков.

— Здравствуй, мальчик! Тебя как зовут? Меня Шура, — бойко окликнула девочка Серёжу сверху, цепко и уверенно держась на заборе. — И почему ты сидишь?

Серёжа застеснялся и заполз обратно за дверь. Ему было стыдно, что он не может ходить. Залез на табуретку возле кухонного окна и, глядя на пустынную улицу, где редко появлялись прохожие, снова погрузился в свои детские мечты, в которых он бегал, скакал на лошади, ездил на велосипеде и не чувствовал себя обделённым, калекой. Мечтая, он ритмично раскачивался на табуретке вкруговую слева направо, как медленно раскручивающаяся юла. И мог в таком состоянии пробыть несколько часов, пока никто не потревожит.

Баба Груня Евдокимова не слыла в деревне особыми знахарскими секретами, но в целебных свойствах трав толк знала. Жила она на отшибе села — почти у самого входа на местное деревенское кладбище. Домик старенький, слегка сгорбленный, будто усталый путник, взбирающийся по горной тропе. Во дворе, обнесённом тонким и реденьким осиновым частоколом, ухожено. Небольшие сенцы почти на треть увешаны пучками разнообразных трав, от которых исходит пьянящий аромат.

Катерина с надеждой переступила порог Груниного жилья. Хозяйка дома чаёвничала и пригласила гостью к столу.

— Проходи, садись, Катерина, составь мне компанию! — И, резво достав из буфета гранёный стакан, наполнила его до краёв розоватым горячим напитком, испаряющим знакомый приятный аромат шиповника.

— Дело у меня к тебе, тётя Груня. Меньшой мой, сама знаешь, ножками слаб. Скоро в школу, а он сиднем сидит. Может, попробуешь своими травками? Я в долгу не останусь.

— Горе твоё, Катерина, знаю. Обещать не обещаю, но давай попробуем. Травками тут одними не обойтись. Есть у меня, правда, один заговор. Но надобна ещё и вера в излечение. Ты шибко молись. А пока истопи-ка хорошенько баньку, водочки и теста приготовь, а травки я подберу, какие нужны.

В бане было жарко, как в пекле, и душно. Серёжа лежал на горячем полке, обмазанный душистым тестом, облепленный свежими берёзовыми листьями. Баба Груня тихонечко похлопывала его сухим веничком по ногам, что-то про себя приговаривая. Серёжа пытался вслушаться в медовый бабкин голос, понять, о чём это она, но вскоре его совсем разморило и от жары, и от непонятного бабыгруниного наговора, и он словно провалился куда-то, в какую-то мягкую, сладкую бездну.

Почти двое суток, как убитый, спал Серёжа. Лишь к концу второго дня проснулся и попросил пить. А ещё через пару дней, опираясь на деревянные табуретки, стал приподниматься. Увидев это, Катерина заплакала от радости и, перекрестившись на старую бабушкину ещё икону, запричитала:

— Спасибо, Никола-угодничек, Мать пресвятая Богородица!

Протянула руку за икону, достала оттуда

свёрток. Быстро собрала в узелок крынку скопленной сметаны, три десятка яиц и заспешила с радостной весточкой и благодарностью к Груне Евдокимовой.

А на следующий день Серёжа, придерживаясь за стены и дверные косяки, вышел на крыльцо. Ноги ещё были слабыми и от напряжения подрагивали, но Серёжа чувствовал себя самым счастливым человеком. Задрал голову высоко в небо, он радовался яркому солнцу. Ему хотелось петь. И он даже не заметил, как на заборе оказалась соседская девочка Шура. Она была всё в том же коротеньком платьице, но под ним уже белели трусики. Наверно, в день первой их встречи они были в стирке, почему-то подумал Серёжа.

— Здравствуй, мальчик! Так как тебя звать?
— Весело расхохоталась Шура.

— Сергей, — немного смутившись, ответил Серёжа, крепко вцепившись в дверной косяк.

— Давай с тобой дружить. Пошли на речку, — и Шура уже было собралась прыгнуть с забора в ограду Серёжиного дома...

— Сегодня не могу, мама не пускает, — зашепел отговориться от весёлой и назойливой соседки Серёжа.

Да и на речку ему было ещё рано. Надо было ещё научиться прочно стоять на ногах. Но Серёжа уже не чувствовал себя калекой. Он был уверен, что через неделю-другую они с Шурой побегут на речку вперегонки.

Вкусный урюк

Конец сороковых и начало пятидесятых не внесли особых изменений в быт и жизнь Катерины Алексеевой. Если не сказать, что жить стало ещё труднее после того, как увели со двора сельсоветовские мужики корову-кормилицу за неуплату налога на скотину. А какой от бурёнки достаток, когда в доме четыре едока и есть, кроме картошки да молока, больше нечего? А тут ещё и картошка закончилась — неурожайным на неё был год. И, чтобы как-то связать концы с концами, пустила Катерина в дом постояльцев, приехавших из средней Азии в Сибирь на заработки. Дом и так не хоромы, но, как говорится, в тесноте, да не голодные.

Постояльцы — парни из солнечного Таджикистана, работающие в леспромхозе, — платили исправно и даже иногда под хорошее настроение угощали ребятишек сушёными южными плодами, урюком, сушёной брынзой, которые в мешках хранили на крыше дома. Эти мешки, вернее их содержимое, постоянно влекло вечно голодные детские желудки. Старший брат первым не выдержал. Проковырял в мешке снизу дырку (сверху мешок был завязан особым узлом, помечен) и выдавил через неё по одной штуке в алюминиевую чашку целую горку урюка. А взамен, чтобы

не обнаружилась сразу кража, напихал округлых галечных камушков, принесённых заранее с речки. И аккуратно зашил дырку дратвенной ниткой.

Наелись, отвели душу. Вкуснятина! Серёжке больше всего нравилось раскалывать камнем косточки и доставать из скорлупок янтарные орешки, тоже безумно вкусные.

Кража обнаружилась не скоро. Ребята уже и забыли про эту проделку. Но однажды таджики, придя с работы навеселе, сказали хозяйке дома:

— Уезжаем домой, Катя... Будем делать прощальный ужин.

Выставили на стол две бутылки вина, палку колбасы, консервы. Один из таджиков слезил на крышу и принёс в дом почти полупустой уже мешок. Взял с полки большую алюминиевую миску и... высыпал в неё остатки содержимого мешка со словами:

— Кушайте, ребята!

Грохот речных камней смутил ребят, напомним им нехорошую проделку. Смутились и таджики, в недоумении рассматривая и крутя в руках гладкие, отполированные водой и временем речные камешки, даже отдалённо не похожие на восточный сладкий урюк...

Предо мною чистый лист:
 Даль, дорога, дни и ночи.
 Я поэт-моменталист —
 Столб дорожный у обочин.
 Торопливый пешеход,
 Грустный дождь и пух лебяжий —
 Всё, что мимо промелькнёт,
 То и на душу мне ляжет.

Родина

Горбами крыш сутулится,
 Как прадед мой стара,
 Деревня в одну улицу
 И в двадцать два двора.
 Куда ни глянь — окраина,
 До города сто верст.
 Заборами огранена
 Да бриллиантом звезд.
 Родная моя родина
 В рябиновом кольце...
 Как бабушкина родинка
 С грустинкой на лице.

В зимний вечер

Метет метель, не ленится —
 Сугробы там и тут.
 Березовой поленицей
 спасаюсь от простуд.
 Огнем веселым плещутся
 В моей печи дрова,
 И чудится, мерещится
 Зеленая трава,
 Усыпанная росами
 Предутренней зари,
 По ней ногами босыми
 Шагают косари.
 Не хочется ни толики
 Стелить постель никак,
 И раскрываю томик я:
 “Стихи. Б. Пастернак”.
 И постигаю добрые

И мудрые слова.
 Медовым пахнет донником
 Зеленая трава.
 Стихами, как молитвами,
 Хранит меня Господь,
 И крепкий чай с малиною
 Мне согревает плоть.

Ремесло

В солнце облако сварю
 И, от зноя истекая,
 Сам себя приговорю
 К истязанию стихами.
 Рифмовать, так рифмовать.
 Это словно наважденье.
 Снова буду дрейфовать
 Среди слов нагроможденья.
 И, скользя, как снег на льду,
 Упаду, рванусь и снова...
 И, в конце концов, найду
 Трижды проклятое слово.
 И опять в словесный бред.
 Ведь поэт — он псих в натуре...
 Будет новый табурет
 В стихотворном гарнитуре.

В музыке дыма

Вы слышали, как дым поет в трубе,
 Как на ветру звучит, звенит по крыше?
 То флейтою, то будто на тубе.
 Как часто эту музыку я слышу.
 Я в звуках этих выпачкан, как черт.
 Я музыкою дыма прокопчен.

Приглашение в юность

Любви твоей ко мне всегда я рад,
 Любви своей к тебе я не растратил.
 Давай с тобою встретимся вчера
 На юности затоптанном квадрате.

Где ждёт тебя романтик-оптимист,
И ждать теперь уже не перестанет,
Где вечно полупьяный баянист
Опять меха фокстротами растянет,
Где будем танцевать мы до утра,
Покуда сил и молодости хватит...
Давай с тобою встретимся вчера
На юности затоптанном квадрате.



Удивительное действие
Вдруг в нас входит, как кино...
Мне всё чаще снится детство —
Всё, что так давным-давно:
Домик старый, палисадник,
Пёс ворчливый, но не злой,
А за пряслом чёрный всадник:
Тень от пугала с метлой.
Речка, кони... Хлещёт плётка
Эхом звонким дальних лет.
Скачут кадры, рвётся плёнка,
В зале вспыхивает свет.

И каждый день, и круглый год

Под циферблатных стрелок ход
Уже привычное настолько
Приходит солнышко с востока
И каждый день, и круглый год.
Приходит ясное не зря,
Несёт тепло и свет оттуда,
Где в синем море чудо-юдо,
Где в бухтах мокнут якоря.
Там где-то молодость моя —
Невосполнимая утрата,
На миг застывшая у трапа,
Навек влюбленная в моря.
И каждый день, и круглый год
Приходит солнышко с востока,
Уже привычное настолько,
Как циферблатных стрелок ход.

На покосе

Вжик-вжик, вжик-вжик! И падает трава,
Сражённая, как рать на бранном поле,
Не чувствуя ни горечи, ни боли,
Она уже не отцветёт — мертва.
И лезвие притупится косы,
И запестреют травяные горы,
И у ромашек срезанные горла
Уже не выпьют утренней росы.
Косцы под вечер сядут у костра,
Чем Бог послал, и выпьют, и закусят.
А утром снова звонка и остра
Коса над шеей трав свой меч запустит.

Опять лечу

Такая блажь, такая чушь
Порою мной овладевают.
То вдруг мне крылья надевают,
То латы меряют по плечу.
И я уже совсем не я,
А тот, который с Христофором
Уходит звездным коридором
Из бухт земного бытия.
Такая блажь, такая чушь.
Себе мы радость сочиняем,
Надежде крылья починаем.
И я опять, опять лечу.

Светлое сожаление

Люблю дожди в конце весны,
Когда земля уже согрета
И на подходе где-то лето
Со взрывом запахов лесных.
Когда, по небу шелестя,
Начнется ливня извержение,
На серой плоскости дождя
Твое блеснет отображение:
Размытый струями портрет,
Как дальней радуги свечение,
И так светло от сожаленья,
Что облетел с черемух цвет.

Июнь. Пора цветения

В рукопожатьях яростных
И солнца, и земли
В лесу расцвел боярышник
И травы зацвели.
Расправив свои плечики,
Вслед пению шмеля
Затренькали кузнечики
На тоненьких стеблях.
Замельтешили важные
Жучки и муравьи,
И потянуло пашнею
И запахом хвои,
Березовыми тенями,
Теплом речных песков....
Июнь. Пора цветения
И летних отпусков.

О душе и кураже

Огород ли горожу,
Рукопись ли жгу в камине —
Поддаюсь я куражу,
А его и нет в помине.
И становится легко
От невидимой потери,
И не тянет далеко,
За распахнутые двери.
Но однажды всё ж душа
Распахнётся синей дали
И запросит куража
Как заслуженной медали.
Огород разгорожу,
Затушу огонь в камине
И чего-то совершу, —
То, чего и нет в помине.

Татьяна Варфоломеева (США) — Валерий Басыров (Украина)

At the foot of the Carpathian Mountains

What does silence think when everything is calm? Maybe about itself? What is “itself”? I ask and ask, but the questions get lost in the dark and remain unanswered.

The alder rustles and holds its breath, quailing before the majesty of silence. All in vain; the alder has a sensitive and vulnerable soul.

I stand beneath the open skies. The September stars press me against the mountains. I rest on the shoulder of silence and feel more confident.

The fire covers itself with a thick layer of ash. Occasionally a tiny coal pops out, stumbles into my view and hides again.

Time to go to look for firewood. I don't feel like going. It is not because it can only be found at the Black River, but because I feel more comfortable within this damp circle of cooling heat. Unwittingly I find myself thinking bad for my kids. They sleep. What can one feel or see in dreams except the dream itself?

At night, the perception of the world around you is totally different.

There is someone timidly clapping their hands right behind your back. I quiver from surprise. I look around. Nobody. What is it? Immediately I smile, for it is but a white alder. The locals call it trepidation. What a capacious and exact name! This trembling of the leaves reminds me of the sound of uncertain applause.

But what is it? From somewhere up above a wild cry breaks up. It gets stuck in the firs, falling apart into voiceless moans and an ominous “whooo, whooo, whooo” crawls across the canyon. Here the imagination conjures up a terrible image: something cruel conquering the world.

I poke at the ash with a stick. There is still a lot heat left there. The fire eagerly splashes out and the stick gets swallowed by the fire. So be it.

The touch of flame brings me back to reality. It is after midnight. The tent lies at the foot of the Carpathian Mountains.

The fire presses closely against the ground again.

The sky sinks and comes over the firs. The stars twinkle.

Again comes the ominous «whooo, whooo, whooo». It seems close.

«No, it is not,» I console myself. «It is far away. A few miles away. A pump working hard on a farm.» Yet I look around. Darkness presses against my face and nothing can be seen.

A soothing snuffling comes from the tent.

It is time for me to go to bed...

У подножия Карпат

О чем думает тишина, когда все утомится? Может, о себе? А что она сама? Спрашиваю, спрашиваю, а вопросы теряются в ночи и остаются без ответа.

Встрепенулся и задержал дыхание ольховник, робея перед величием тишины. И напрасно: у нее чуткая и ранимая душа.

Стою под открытым небом. И сентябрьские звезды прижимают меня к горам. Опираюсь на плечо тишины и чувствую себя уверенней.

Костер укрылся толстым слоем пепла. Изредка проклюнется крохотный уголек, накинется на мой взгляд и опять спрячется.

Надо сходить за дровами. Не хочется. И не потому, что их можно найти только у Черной реки, — уютнее чувствую себя в этом размякшем круге остывающего тепла. Невольно ловлю себя на том, что жалею ребят. Спят! А что увидишь или почувствуешь во сне, кроме сна?

Ночью совсем другое восприятие мира, окружающего тебя.

Вот за спиной кто-то робко захлопал в ладоши. Вздрагиваю от неожиданности. Осматриваюсь. Никого. Что это? И тут же улыбаюсь: да это же белая ольха. Местные жители нарекли ее трепетой. Трепета. Какое емкое и точное название! Этот трепет листьев напоминает звук неуверенных аплодисментов.

Но что это? Откуда-то сверху оборвался дикий выкрик. Вот он вонзился в ели, рассыпаясь на глухие стоны. И по ущелью поползло злое: «У-у-ух». И уже воображение рисует жуткую картину: что-то жестокое овладевает миром.

Тычу в пепел палку. Сколько еще сохранилось жара! Огонь жадно выплеснулся, — и палка досталась костру. Ну и пусть.

Прикосновение огня вернуло к реальности. За полночь. Палатка у подножия Карпат.

Огонь снова прижимается к земле.

Небо просело и наткнулось на ели, — заморгали звезды.

И снова злое: «У-у-ух». Кажется, рядом.

«Да нет, — успокаиваю себя, — это далеко. В нескольких километрах отсюда. На ферме выбивается из сил глубинный насос». Но все-таки оглядываюсь. Мрак прижимается к

лицу и ничего нельзя рассмотреть.

Из палатки доносится успокаивающее посапывание.

Пора и мне.

1987



*Карпаты.
Фото
Христины Винницкой*



Я знала его смолodu в основном из «Юности». Читала его стихи и ахала от смелой прозы в восьмидесятых прошлого века.

В 2009 году мне посчастливилось встретиться с ним в Крыму на международном фестивале литературы и культуры «Славянские традиции».

О нем не надо много говорить — он известный человек. Но вот недавно мне захотелось совершить экскурс в прошлое. Я обратилась в районную библиотеку с просьбой дать мне почитать книги стихов Юрия Полякова, поскольку в Интернете, к сожалению, ничего найти не смогла. В ответ я услышала снисходительно-поучительное:

— Юрий Михайлович Поляков — главный редактор «Литературной газеты», замечательный писатель-прозаик, телеведущий. Он не поэт!

На это улыбнулась я:

— Поэт! Поляков начинал свою литера-

турную деятельность с поэзии. Я помню его сборники «Время прибытия» и «Разговор с другом»!

Моя начитанность немного смутила, колебала уверенность молодого библиотекаря. Но она не сдавалась:

— У нас нет таких книг!

— А собрание сочинений?

— Конечно, есть! — с гордостью ответила мне девушка, достав с полки первый том, довольно потрепанную книжечку.

Я люблю такие книги — видно, что они читаны-перечитаны, значит, интересны. В четвертом томе собрания сочинений Юрия Полякова моя собеседница увидела его стихи из книг «Время желаний» (1980), «Разговор с другом» (1981), «История любви» (1985), «Личный опыт» (1987).

Итак, поэт и писатель, драматург, сценарист и телеведущий, кандидат филологических наук Юрий Поляков. Кстати, диссертация Юрия Михайловича посвящена фронтовой лирике, и стихи его о войне, как и все остальное в литературе, — по-поляковски откровенны и глубоки, оттого что:

Не могу,

Не могу,

Не могу не писать о войне!

Значит,

память других

ближе собственной памяти мне?

Значит,

беды чужие

утрат моих личных больней?

Не могу объяснить...

Если б мог,

не писал бы о ней...

(Юрий Поляков)

Некоторые стихи о войне Юрия Полякова размещены на сайте издательства «ДОЛЯ»: <http://vbasyrovdola.ucoz.ru/>

Знакомьтесь, кто не знает, вспоминайте, кто подзабыл, наслаждайтесь поэтическими произведениями автора на страницах журнала «Доля».

Ольга Прилуцкая

Юрий Поляков

Гипотеза

Сергею Мнацаканяну

Мимо нас просверкивают годы —
 Время никогда не устает!
 Он придет однажды — час ухода,
 Хоть кричи, а все-таки придет.
 И не будет ничего за краем,
 Даже пресловутой смертной тьмы, —
 Просто мы, как лед весной, растаем,
 Но водой не сделаемся мы.

Первая любовь

Её, наверно, можно миновать,
 Влюбившись сразу вдумчиво и зрело,
 И навсегда утратить благодать
 К ней возвращаться — к первой, неумелой,
 Загадочной, застенчивой, слепой,
 Чтоб испытал, как счастье убывает,
 И, вспомнив удалое: «Есть любовь!»,
 По-взрослому поправиться: «Бывает...»

Женщина с упрямыми глазами

Такого можно не понять годами,
 Но вдруг коснуться в озаренье лба!
 Та женщина с упрямыми глазами,
 Как говорили встарь, — моя судьба!

Вот и все...

В одно я верю только:
 Силою, не снившеюся нам,
 Воскресят нас, может быть, потомки,
 Души восстановят по стихам.
 Мы увидим мир непостижимый,
 Странный мир, где все мечте под стать!
 Но ведь как...
 Ведь как писать должны мы,
 Чтобы из стихов своих восстать?!

Первый поцелуй

Сумерки сиреневым туманом
 Тихо поднимались от земли.
 Я был говорливым мальчуганом.
 Мы через Сокольники брели.
 И не знали, где бы нам усесться,
 Чтобы скрыть ребяческий испуг.
 Бог ты мой, как трепетало сердце
 От касанья несмышленных рук.
 А потом — как вспышка золотая,
 Точно дождь из раскаленных струй,
 Словно... Я и до сих пор не знаю,
 С чем сравнить тот, первый, поцелуй!

Её улыбка — от печалей средство,
 Её слова — они хмельней вина!
 Вот жизнь моя: сначала было детство,
 За детством — юность, а потом — она!
 Конечно, счастье — это тоже тяжесть,
 И потому чуть сгорбленный стою.
 Не умер бы я, с ней не повстречавшись,
 И жизнь бы прожил. Только не свою!

До свиданья, любовь!

До свиданья, любовь!
 Обязательно встретимся снова.
 В сердце пусто не будет —
 напрасно душой не криви!
 В расставании, милая,
 нет ничего рокового.
 Это — анахронизм:
 погибать от несчастной любви.
 Переменятся чувства —
 и мы переменяемся сами.
 Так со сменой жильцов
 свет иначе мерцает в окне...
 Но высокие женщины
 с пристальными глазами
 До последней черты
 будут горестно дороги мне...

Железнодорожное сравнение

Полюбить, словно высунуть голову
 Из окошка летящего поезда:
 Ветер город сдувает за городом
 И косою проходится по лесу.

Но вдыхать этот воздух стремительный
 Для души необычно и боязно...
 Одинаково ль время прибытия
 У любви и ревущего поезда?

ИСТИНА

О значениях слов

Мы калечим природу, мы портим слова.
 Скажем, раньше «орать» означало —
 Засучить у рубах до рамен рукава
 И пахать, налегать на орало.
 А вот слово «пахать» означало «мести».
 «Очагом» звали печку простую.
 А теперь «очаги» в медицине в чести
 И в политике!

Я протестую!

А виновна — поэтов огромная рать.
 Но «очаг» поддается лечению:
 Надо меньше лишь в новом значенье

«орать»,

А «пахать» — больше

в старом значенье!

Старинный спор

...А все же миром

правят трудолюбы!

У ледящей бездны на краю,
 Превозмогая все,

сжимая зубы,

Они работу делают свою.

Они живут,

в одну работу веря,

Сердца до побеленья раскалив.

...Усидчив был Антонио Сальери,

А Вольфганг Моцарт был

трудолюбив!

Зачем вы пишете стихи?

— Зачем вы пишете стихи?
Вы что же думаете,

Строки
Способны исцелять пороки
И даже исправлять грехи?
Зачем вы пишете стихи?
Ну хоть один
от ваших виршей
Стал добродетельней и выше?
Скажите прямо,
не тая.

— Один?
Конечно!
Это я...

Понимаете, люди!

Я, наверное, в чем-то,
как в юные годы, беспечен.
И пока еще,
к счастью,
тяжелых не ведал потерь.
Но совсем незаметно
я стал понимать,
что не вечен.
И скажу даже больше:
я в этом уверен теперь!

Присмотритесь:
все меньше
на солнечных улицах в мае
Ветеранов войны...
Поглядите:
от года тесней
Городские кладбища...
Я это теперь понимаю

Не умом изощренным,
но грешною плотью своей.

В глупой юности веришь,
что высшею метой отмечен:
Философствуешь,
плачешь,
надеешься...
Ну а сейчас

Я спокоен и тверд.
Потому что, как все мы,
не вечен...

Понимаете,
люди,
как общего много у нас!

Футурологические стихи

Все бесследно уходит,
и все возвращается снова.
И промчатся года
или даже столетья,
но вот

Отзовется в потомке
мое осторожное слово —
И влюбленный студент
в Историчке
мой сборник возьмет.
Полистает небрежно,
вчитается и удивится:
«Надо ж, все понимали,
как мы...
Про любовь и про снег...»

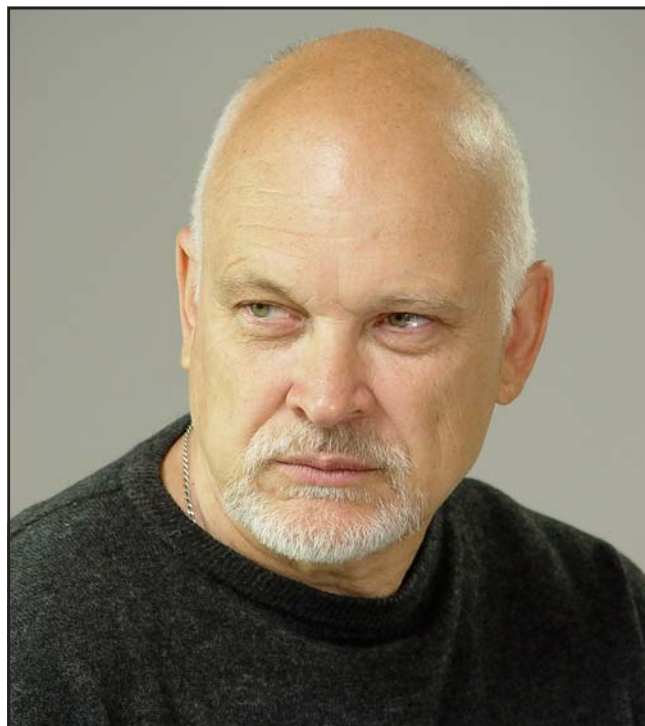
Но потом,
скорочтеньем
скользнув остальные страницы,
«Нечитабельно, — скажет. —
Двадцатый — что сделаешь? —
век!..»

БАСЫРОВ Валерий Магафурович — поэт, прозаик, переводчик, книгоиздатель.

Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в 1976 г. Автор 30 книг прозы, поэзии, публицистики. Его произведения переведены на различные иностранные языки. Лауреат многих литературных премий.

Издательским делом занимается с 1988 года. Первая книга стихов Валерия Басырова “Нечаянная оттепель” (2,5 печатных листа) в 1989 году была напечатана за 48 часов и явилась самым быстрым полиграфическим изданием в бывшем СССР, которое прошло путь от типографии до книготорговой сети.

В дальнейшем выпустил более 1500 книг профессиональных и начинающих литераторов.



Валерий БАСЫРОВ

ТОГДА, В ПЯТИДЕСЯТЫХ...

Автобиографическая повесть

1. Расстрел

Снег.

Он смягчил в обмороженном пространстве резкие очертания бараков, колючей проволоки, деревьев.

Его уже столько, что невозможно определить направление скольжения снежинок: то ли небо неторопливо затягивает в причудливые сети день, то ли призрачный свет сам расставляет их.

Ветер обессилел и споткнулся о широкие лапы елей, подмятые тяжелым грузом непогоды.

Рядом с небольшим домом, чертыхаясь, шумят солдаты, отгребая снег от колючей проволоки.

Проволокой опутан лагерь для заключенных.

В доме, где жил обслуживающий персо-

нал лагеря, захлопали двери, послышались голоса. Для его жильцов начинался трудный день. От стука проснулся и Виталик.

Мать стояла у окна, зябко поеживаясь. На ее худеньких плечах висела тонкая шаль, подаренная Виталькиной бабушкой.

— Мама, — тихо позвал он.

— Проснулся, мой маленький, — она опустилась на колени перед койкой и прижалась к его щеке. — Сейчас умоешься и будешь кушать.

— На дволе ветел? — спросил картавя мальчик, разбрызгивая из таза теплую воду.

— Нет, уже поутихло. Ох, и снега намело! — радостно воскликнула мать. — Быстренько садись за стол, мне уже пора.

— Ма, можно я потом поем?

— Только смотри мне, — она с притворной строгостью погрозила ему, — гуляй возле дома.

Неожиданно щелкнул один выстрел, второй, третий... Издалека послышался глухой топот копыт, ржание лошадей.

Мальчик соскользнул с табуретки и бросился к окну.

— Мама, мама... Смотри, — отчаянно закричал он, — их убивают...

— Кого?

— Вон... Вон... — он тыкал пальчиком в стекло, дышал на него, ковырял ногтями изморозь. — Видишь?

Теперь она видела. На отгороженной площадке расстреливали лошадей. Солдаты стояли на вышках и гоняли выстрелами их по кругу.

Она вспомнила приказ начальника лагеря капитана Шергаева, который был отдан накануне командиру взвода лейтенанту Агонову: “Всех активированных лошадей расстрелять. Туши вывезти в лес и зарыть...”

— Мама, мама, зачем их так?

— Это больные лошади, сынок. Понимаешь, больные.

— Ну и что? Они ведь тоже хотят жить...

— заливался слезами Виталик, вздрагивая всем телом при каждом выстреле.

Скачущих по кругу лошадей становилось все меньше и меньше. Чистый снег перемешался с кровью.

А солдаты все щелкали и щелкали по окровавленным крупам. Лошади хрипели, бросались из стороны в сторону, от проволоки к проволоке, и валились навзничь.

Из барачков высыпали заключенные, нахмурившись, наблюдали за расстрелом.

Осталась одна лошадь. Она уже не могла бежать, а лишь медленно брела среди трупов. Малиновая слюна стекала по худой длинной шее и капала под копыта. Пули легко впивались в ее тело. После каждого выстрела она мотала головой, шаталась, но брела дальше. Потом у нее подломились передние ноги и она уткнулась оскаленной мордой в снег.

Выстрелы смолкли.

И тишина, которая сразу заполнила собой все окружающее, вдруг показалась настолько нелепой, что деревья зашумели, сбрасывая с себя целые горы снега.

Мать вздохнула и наклонилась к сыну:

— Не надо плакать, мой маленький, не надо... Мне тоже их жалко, но что поделаешь...

Она захотела погладить его по голове и уже протянула руку, но ребенок отпрянул назад, а в глазах, переполненных слезами, дрожала такая боль, что мать не решилась прикоснуться к сыну.

— Что поделаешь... Что поделаешь... — захлебывался он. — Взрослые всегда так... Сделают что-то нехолошее, а потом говорят, что так получилось. Когда я выласту, я не буду таким...

— Тебе только шесть лет.

— Ничего, я выласту очень быстро.

Он шмыгнул носом и поплелся в угол, где на полу лежали книжки.

Мать застегнула бушлат, постояла немного, а потом спросила:

— Ну, я пойду?

— Иди, — безразлично ответил мальчик.

Как только мать завернула за угол дома, Виталик сорвал с вешалки шапку, шубку и, натягивая их на ходу, выскочил за дверь.

Сразу за порогом начиналась тайга. Снег еще нехотя сеялся, но солнце, сжатое со всех сторон облаками, уже освещало верхушки деревьев.

От дома к самому лагерю тянулась тропинка, утопая среди громадных сугробов. По ней катилась маленькая фигурка мальчугана.

— Ты куда? — то ли спрашивая, то ли ругая, воскликнул солдат возле проходной.

Он, наверное, замерз. Лицо фиолетового цвета было закутано в широкий воротник тулупа. Даже глаза его от холода стали фиолетовыми.

Виталик знал всех, но этот солдат был ему незнаком. Он нерешительно остановился.

— Я кого спрашиваю? — послышалось снова откуда-то из тулупа.

— К маме, — прошептал мальчик, закусив нижнюю губу.

— Я тебе дам “к маме”, марш домой.

— Что тут происходит? — около солдата остановился Аносов.

Солдат вытянулся:

— Товариш лейтенант, он на территорию...

— Пропустите. Это Валин сын..

— А я разве что... Я ничего... Пусть себе идет. — Передернул плечами, продолжая бурчать. — Валин сын. А кто она такая?

— Рядовой Игнатьев, отставить разговорчики, — оборвал его лейтенант, а потом добавил. — Не спешите. Еще узнаете. А его, — он кивнул в сторону мальчика, — не смейте обижать. Иди, иди, — подтолкнул легонько Виталика в спину.

За проходной КП Виталик оглянулся: Андрей Иванович Аносов свернул к штабу, а солдат опять спрятал глянцевого посиневшее лицо за воротник тулупа и, притоптывая на месте, казалось, пританцовывал.

2. В бараке

В каждом бараке у Виталика были свои знакомые, и даже друзья, которые мастерили мальчугану забавные игрушки, рассказывали занимательные истории, сказки. И он любил эти игрушки и сказки. Игрушки всегда были красивые и веселые, а сказки почему-то грустные, но зато с хорошим концом.

И вот сейчас он остановился в нерешительности: в какой барак идти? Ближе всех был десятый. К нему и свернул Виталик.

— Марфа, твой воспитанник явился, — крикнул кто-то хриплым голосом, как только мальчик прикрыл за собой дверь.

Он поднял голову. На втором ярусе на сидела молодая женщина, свесив худые ноги в неуклюжих ботинках.

— Чего вытаращился? — захрипела она и заразительно зевнула, показывая два ряда ровных красивых зубов. — Там твоя Марфа. — Она неопределенно и вяло махнула рукой куда-то в глубь барака.

— Я тут, Виталик, — к нему, тяжело дыша, спешила грузная женщина. — Приболела я малость, — добавила, извиняясь. — А ты чего, бесстыжая, мальчонку-то пугаешь, — укоризненно заметила она женщине в ботинках.

— Да катись ты со своим пацаном... — злобно ругнулась та. И выдавила: — Чистоплюйка.

— Пойдем отсюда, пойдем. — Марфа взяла мальчика за руку.

А вслед неслись ругательства и злобный крик:

— Хорошая стала, лярва... Видали мы таких. Все равно подохнешь вместе с нами. А на том свете все одинаковые.

— Бог с тобой, Бог с тобой, — набожно крестилась ее соседка.

— Заткнись, сука христовская.

— Я молчу, молчу, молчу... — все так же крестясь, испуганно бормотала та.

— Я потом плибегу, можно? — спросил Виталик, пятясь к двери.

Марфа погладила его ласково по голове:

— Не обращай внимания. Наташка часто такой бывает. А вообще она неплохая. Новенькая. Ее из другого лагеря к нам перевели. — Она пододвинула табуретку. — Да ты садись, садись.

— А почему у тети Наташи такие большие ботинки?

— Она нарочно их надела.

— Зачем?

— А чтобы не работать, малолетний дурак, — отозвалась тетя Наташа, — и хорошо жрать.

— Она в ботинки наложила камней. Втиснула туда ноги и крепко зашнуровала. А если посидеть на нарах несколько часов, ноги набрякают и человека направляют в санчасть, — объяснила Марфа.

— Пусть только твой выродок продаст, — тетя Наташа опять выругалась, — помнишь тогда меня, Марфа.

Дверь громко хлопнула. Кто-то рядом зашикал: “Тише, хозяйка пришла”. И несколько человек сразу закричало:

— Привет начальнице...

— Быстро лезь под нары, — зашептала Витальке Марфа. — А то нагорит мне за тебя.

Мальчик забился в уголок под нарами и замер. Сначала он еле различал тихий грудной голос матери среди тесного сплетения орущих глоток заключенных: “Опять было тухлое мясо... Сама пей чай без заварки... Задавила сухой картошкой... Конину давай...” Затем он увидел совсем близко мамины валенки.

— Марфа, — спросила мама, — ты Виталика не видела?

Марфа, видно, по обыкновению передернула плечами, потому что мама растерянно удивилась:

— И куда он мог деться? Мне сказали, что он в этом бараке.

Дверь снова хлопнула. Марфа заглянула под нары:

— Вылазь, ушла уже. Посидишь немного и домой, — она наклонилась к мальчику. — Я сделала для тебя пепельницу из морской раковины. Не веришь? — спросила она, заметив недоверчивый взгляд мальчика. — Вот, посмотри. — Марфа бережно достала из-под подушки пепельницу. Погладила ее зачем-то, а потом протянула Виталику: — Держи, — и тихо добавила. — На память обо мне...

3. Столкновение

Длинный неудобный барак, когда-то приспособленный под штаб, стоял в стороне от прочих сооружений на небольшом пятачке лагеря, отделенном от него двумя рядами колючей проволоки с узким проходом, который всегда охранялся часовыми, а ночью — еще и собаками, хотя в этом не было никакой надобности. Побег был практически невозможен. Офицеры, служившие тут не один год, рассказывали, что за все время лишь несколько человек пытались покинуть пределы лагеря. Но тщетно. Некоторых находили замерзшими в тайге, а другие возвращались сами в изорванной одежде, с исцарапанными и измороженными лицами.

На сотни километров вокруг властвовали тайга и болота. Узкой лентой змеилась лежневка* в Россию. По этой дороге привозились продукты, а иногда и почта. По этой дороге поступало новое пополнение в лагерь из числа воров, жуликов, взяточников, стяжателей, растратчиков и прочих нездоровых элементов, как их еще иногда называли. На-

* Лежневка — сбитые и уложенные на вязкий грунт бревна, предназначенные для проезда транспорта.

чало этой дороги служило благословением заключенным, отбывшим свой срок и возвращавшимся по ней к человеческой жизни. А многие, прибывшие в лагерь по этой дороге, так больше никогда на нее и не ступили...

Виталик тоже приехал сюда по этой дороге. Но когда — никак не мог вспомнить. Иногда ему казалось, что он и родился тут, в лагере, за колючей проволокой. Но эта дорога тоже манила его и звала за собой. Он давно уже отвык от живых детских голосов. Дети ему только снились. Однажды, сидя у мамы в кабинете, он услышал, как за дощатой стеной Сергей Шалвович Шергаев с кем-то разговаривал по телефону. “Что же прикажете мне делать, — басил Сергей Шалвович, — уволить ее? Рапорт за рапортом подает. Сынишке-то в школу пора...” Потом он замолчал и только изредка односложно соглашался: “Да, да, да...” А в конце разговора грустно вздохнул: “Ну что ж, придется переводить”.

“Это про нас, — обрадовался Виталик. — Мы уедем отсюда. Да, мама?” — спросил он.

“Станет работы поменьше, уедем”, — сказала она.

Но шли дни, месяцы... Работы не уменьшалось, и они не уезжали. Мать приходила домой поздним вечером усталая, издерганная. А по ночам плакала. Утром уходила в лагерь с мешками под глазами. Когда это случалось, Сергей Шалвович вызывал ее в кабинет. “Так, так, — начинал он сердито, расхаживая из угла в угол, — гм... Так, так... Ну что мне с тобой делать? Значит, так: сейчас иди домой, успокойся. А потом придешь. Завтра мы что-нибудь придумаем”.

И мать уходила. А завтра повторялось все сначала. Офицеры между собой по этому поводу зубоскалили: “Что-то тут нечисто”. Постепенно слухи просочились к заключенным и на долгое время стали темой их разговоров: “Неужто это правда?” — удивлялись одни. “Не может быть”, — возражали другие. Третьи сомневались: “Валя совсем еще молодая... Да и зачем ей плешивый халхаль? Собака после гонорей и то краше”. Но все они пришли к единодушному мнению,

что как бы там ни было, а Валю отпускать нельзя. Пусть себе живет с “плешивым”. Школы нет — тоже не беда. Можно открыть. За учителями задержки не будет (среди заключенных была кандидат исторических наук). Ее и избрали директором “школы”.

Узнав об этой затее, Сергей Шалвович сначала нахмурился, а потом улыбнулся и махнул рукой: “А что? Годится”, — скуластое лицо засветилось радостью. — Отведем какую-то часть барака, и пусть себе учится на здоровье”. Но когда он поделился этой мыслью с оперуполномоченным Павлом Игнатьевичем

Агоновым, тот рассудил иначе: “Во-первых, товарищ капитан, этого делать нельзя. Наступил самый ответственный период. После смерти Сталина мы должны мобилизоваться, никаких поблажек. А во-вторых... Посудите сами. Чему может эта шваль научить ребенка? Но я волнуюсь сейчас даже не об этом. Допустим, он будет тут учиться, жить... А не получится ли так, что мы выростим преступника?”

Сергей Шалвович рассердился: “На этот раз, дорогой Павел Игнатьевич, вы хватили через край”.

Когда он злился, его лицо желтело, а лысый череп покрывался капельками пота и постепенно заливался краской. Волосатые мясистые пальцы судорожно начинали выбивать прерывистую дробь. В таких случаях присутствующие, зная крутой нрав на-

чальника, старались немедленно покинуть кабинет. Но Павел Игнатьевич и не думал уходить. Он не спеша вынул из кармана пачку “Беломора”, размял папиросу и затянулся. “Я давно хотел с вами поговорить, — сказал он, — как коммунист с коммунистом. Вся-



Фотографироваться с заключенными не разрешалось. Но этот снимок маме Виталика удалось вынести из зоны. На долгую, долгую память...

чие разговоры ходят по лагерю. Ладно уж, если бы только между нами — заключенные смеются”. “Я вас не понимаю, — резко ответил Сергей Шалвович. — В конце концов, это мое личное дело...” “Ваше? Ошибаетесь. Начальник лагеря путается со своей подчиненной, надзирательницей...” “Прекратите!” — закричал не своим голосом Сергей Шалвович, брызжа слюной. “Сейчас же прекратите”, — выкрикнул он еще раз и боком опустился на стул. “А зачем же нервничать, — спокойно возразил Агонов. — Свичарская молодая, одинокая. Недурна собой. Можно даже сказать, красивая. Но нельзя же втаптывать женщину в грязь. Или вы думаете, что вам все позволено? И, к тому же, вы ей в отцы годитесь”.

Шергаев достал из стола несколько табле-

ток, проглотил и устало прикрыл глаза. Его грузная фигура ссутулилась, отчего он приобрел поразительное сходство с кулем муки. Павел Игнатьевич что-то еще говорил, но, странное дело, Шергаев не слышал его слов. Он только отметил про себя, что у лейтенанта красивые губы. Для мужчины, пожалуй, слишком красивые. Они как-то нехотя и причудливо изгибались, когда их владелец выплевывал новую порцию беспочвенных обвинений, которых он, старый человек, боялся. И боялся совсем не потому, что они задевали его самолюбие, нет. Просто он тревожился за судьбу женщины, которую (так он думал), не будь его рядом, обидит ни за что каждый. И в первую очередь этот слюняй, неведавший и незнавший о жизни ничего, кроме инструкций и предписаний из управления. “И выговоров у него будет поменьше, чем у меня, — подумалось еще Шергаеву, — когда займет мое место”. Он вспомнил, как в первый раз увидел Валентину.

Его вызвали в управление. После совещания полковник Харькин его оставил: “Небольшой сюрприз, Сергей Шалвович, — объяснил он. — Лагерь у вас женский. А женщине с женщиной легче воевать, как вы думаете?” Капитан Шергаев растерянно развел руками: “Не знаю, товарищ полковник”. “А я знаю, — рассмеялся он. — Так вот, несколько женщин-надзирательниц у вас уже есть. Направляем к вам старшей надзирательницей еще одну. Сейчас представлю”. Через несколько минут в кабинет постучали, и на пороге появилась девушка: “Вы меня вызывали?” — обратилась она к полковнику. “Да, да, проходите, — ответил он. — Вот, познакомьтесь, Сергей Шалвович, — Валентина Антоновна Свичарская”. Шергаев машинально протянул руку и ощутил тепло маленькой ладони.

Шергаев посадил Валентину Антоновну с сынишкой в кабину “полуторки”, а сам устроился в кузове на двух громадных чемоданах новой подчиненной. Всю дорогу и уже потом, в лагере, когда он определил Свичарскую в одну из пустующих комнат дома, Сергей Шалвович пытался представить себе эту совсем еще молодую женщину среди ору-

щих заключенных. И не мог. Ему казалось, что она не выдержит изо дня в день находиться в мерзком и низком окружении. Предупредив всех заключенных о появлении нового человека в лагере, Шергаев предпринял все меры предосторожности. Но странное дело, люди, которые не подчинялись окрикам солдат и офицеров, слушали Валентину беспрекословно, хотя она никогда не повышала голоса. И все-таки Шергаев боялся за нее.

И не эта ли, возможно, излишняя опека с его стороны и породила за его спиной сплетни. Он признавал свою вину лишь в том, что не хотел отпускать Валентину. Но на это были свои причины. Он боялся, что с ее отъездом заключенные снова выйдут из повиновения. А еще эта женщина очень напоминала ему Валю. Его Валю, которая умерла в сорок первом у него на руках...

Агонов встал, одернул гимнастерку и сухо проговорил: “Я буду звонить в управление”. Сергей Шалвович остался без движения, только вяло махнул рукой.

4. Раковина

— Где ты был? — бросилась мать к сыну, когда он зашел к ней в штаб. — Я уже обыскалась...

Виталик опустил голову. Носком валенка елозил по полу и молчал. Мать покачала головой:

— Опять в бараке, — огорчилась она, заметив в руках пепельницу. — Ну и нагорит мне когда-то за тебя...

Мама пододвинула табуретку к печке...

— Горюшко ты мое, раздевайся и садись сюда, погрейся. Не руки, а ледышки, — сказала она, помогая Виталику снять шубку.

Рассматривая пепельницу, мать удивилась:

— Какая тонкая работа. Это же натуральная раковина! Как она попала в лагерь? Кто тебе ее дал?

— Малфа.

— Марфа? Неужели из Одессы привезла? Как же она уберегла раковину при обыске? Посиди тут, — Валентина быстро вышла с пепельницей из кабинета.

Капитана Шергаева у себя не было, и она зашла к оперуполномоченному. Лейтенант Агонов сидел за столом и просматривал личные дела заключенных, готовясь к амнистии.

— Свичарская? — Агонов приподнялся из-за стола. — Проходите, садитесь. — Он пододвинул ей стул. — Я вас слушаю.

— Товарищ лейтенант, понимаете, мне показалось странным... — волнуясь, начала разговор Валя.

— Что именно? — перебил ее Агонов, в упор рассматривая женщину и отмечая про себя, что она действительно привлекательна и что его начальник не дурак. Он поймал себя на том, что даже завидует ему. Больше того: не отказался бы побыть на его месте. А как она прекрасна, когда волнуется! Еле заметная бледность ровно проступает на лице. И глаза постепенно темнеют, темнеют...

— Да, да, я вас слушаю, — спохватился он, заметив недоуменный взгляд женщины.

— Вот, — Свичарская поставила на стол пепельницу.

— Красивая. Откуда она у вас? — заинтересовался Павел Игнатьевич.

— Сын принес... Марфа ему подарила... — начала сбивчиво объяснять Валя. — Я боюсь, как бы она с собой ничего не сделала.

— Почему?

— Ведь Марфа из Одессы. Ее там судили, понимаете? И эту раковину она, наверняка, привезла с собой. Четыре года прятала в бараке, а теперь вдруг отдала...

— Ну и что?

— Человек никогда добровольно не расстанется с вещью, которая ему хоть чем-то напоминает родные места, близких...

— Успокойтесь, — улыбнулся Агонов. — Ваша Марфа не такая сентиментальная, как вы. Ей плевать... — он махнул рукой. — А пепельницу отдайте сыну, пусть играет. Забавная безделушка, — сказал он, возвращая раковину.

— Можно идти?

Агонов кивнул головой и сразу спохватился:

— Хотя подождите... Я вот о чем давно

хотел у вас спросить. Вы вправду собираетесь уволиться?

— Да, — тихо ответила Валя.

— А почему? У вас ведь есть работа, хороший оклад, паек...

— У меня же сын растет. Ему учиться надо... Товарищ капитан вот не хочет отпускать...

— А вы уезжайте вместе с ним, — подсказал Агонов.

— Как это “вместе с ним”? — не поняла Валя.

— Скоро Сергею Шалвовичу на пенсию. Вашему сыну нужен отец, а вам муж...

— Да вы что? — возмутилась женщина. Щеки ее стали пунцовыми, даже уши порозовели.

— Ну, извините, Свичарская, — ухмыльнулся Агонов, — если я вас обидел. Это я так, пошутил.

Он смотрел, как она торопливо уходила. Тонкая ее фигурка легко выскользнула из кабинета. “Хороша”, — не без восхищения еще раз отметил про себя Павел Игнатьевич.

5. Волки

Их было много. Они и раньше изредка появлялись возле дома и проволоки, дразня сторожевых псов, которые приходили в неопределимую ярость: длинная и густая шерсть на загривках приподнималась и выдавала нервную дрожь собак. Они бросались на проволоку и захлебывались неистовым, переходящим в хрипение, лаем. Волки их не боялись. Волки не обращали на собак внимания: они были заняты более важным делом — искали пищу. Они опасались лишь сторожевых вышек, откуда солдаты открывали беспорядочную пальбу, иногда удачную. Так было и на этот раз.

Стая цепочкой шла за своим вожакom по пятнам крови, которые остались после расстрела лошадей. Возле дома они разделились на две группы. Большая прижалась к стене, а вторая, с вожакom, припала к снегу и медленно двинулась дальше.

Лучи прожекторов выели кусок ночи возле наружного ряда проволоки. Темнотой,

которая властвовала вне лагеря, пользовались волки, но всегда безрезультатно. Лишней еды в лагере не было. На этот раз внимание зверей привлекли громадные бочки. Выставленную бочкотару давно собирались отправить из лагеря. Ждали транспорт. Когда-то эти бочки были наполнены до краев сельдью, теперь они только сохраняли ее запах.

Собаки, учуяв волков, злобно время от времени рычали. Вожак резко оттолкнулся от слежавшегося снега. Его тощее тело, оторвавшись от земли, почти сразу завершило полет и исчезло в бочке. Еще несколько теней метнулись к бочкам. И в это же время раздались выстрелы, покрывая захлебывающийся лай собак.

Виталик не спал. Он укутался в одеяло до самого подбородка и смотрел в окно. Выстрелы слышались со всех сторон, но ничего не было видно, по крайней мере, из окна.

Неожиданно к стеклу прижалось чье-то лицо. Виталик присмотрелся и вздрогнул: громадный волк заглядывал в комнату. Потом он как-то странно помахал перед собой лапой и вдруг со всего размаха ударил по стеклу наружной рамы. Мелкие кусочки посыпались на снег. Волк исчез...

Мальчик осторожно, чтобы не разбудить маму, сполз на пол. Возле печки нащупал кочергу, подошел к окну. Выстрелы прекратились, и собаки замолчали, опять воцарилась тишина.

Утром Виталик никак не мог проснуться. Он явственно слышал шаги мамы, запах вареной картошки, знал, что уже не спит, но открыть глаза никак не мог. Тут он вспомнил про ночного гостя и сразу вскочил.

Мать рассмеялась и дала ему зеркало:

— Посмотри, на кого ты похож...

Только сейчас Виталик заметил, что до сих пор сжимает в руках кочергу, которую обнимал целую ночь. Руки, лицо, ноги были в саже. Черные полосы остались и на постели.

— Я сегодня крепко спала, — сказала мама, — ничего не слышала. А ты даже воевал...

Она подошла к сыну и забрала у него кочергу.

— Много было волков?

— Я видел только одного, большого-большого.

— Который нам окно разбил?

— Ага.

Мальчик уже плескался в тазу, размазывая руками сажу.

...Убить удалось четырех волков. Трех вытащили прямо из бочек, а последнего нашли еще живого далеко от лагеря. Когда солдаты направились к нему, волк попытался встать. Но лапы уже не слушались, подгибались. И все-таки он встал, сумел даже чуточку проковылять в сторону людей, а потом упал.

— Готов, — сказал один из солдат, ударив несколько раз сапогом по ребрам зверя, и протянул: — Ну и худющий.

Волков свалили в яму и забросали снегом. А через четверть часа о ночном происшествии и не вспоминали: из барачков выходили заключенные и выстраивались возле проходной. Конвой, разбив их на бригады, уводил работать на лесоповал.

— Все? — спросил капитан Шергаев у надзирательницы Софии Кротовой, когда последняя бригада покинула лагерь.

— Да, товарищ капитан. Все, кроме Гурьевой из десятого.

— А что с ней?

— Опять что-то с ногами. Отправили в санчасть.

— Проверим бараки, и сможете отдохнуть, — сказал Сергей Шалвович.

Нары в десятом бараке были аккуратно застелены. Позднее утро, скупое на свет, казалось, не хотело или боялось заглянуть в узкие окна. Полумрак прятался по углам и не собирался убираться оттуда. Спертый и кислый воздух затруднял дыхание.

— Сколько раз я требовал проветривать помещения, — недовольно произнес Сергей Шалвович. — Тут задохнуться можно...

— Ой! — неожиданно вскрикнула Соня.

— Товарищ капитан, — испуганно позвала она, — смотрите.

Лицом вниз на нарах лежала женщина, наполовину укрытая одеялом. Руки по локти были прижаты животом, одна нога свесилась с нар.

Шергаев отбросил в сторону одеяло и окаменел: на простыне засохли потеки крови.

— Помогите, — шепотом попросил он Соню.

Они вдвоем осторожно перевернули женщину на спину. Капитан быстро взял холодную руку заключенной, но пульс не прослушивался, сердце уже не билось.

— Срочно в санчасть, — приказал Кротовой. — Хотя не надо. Поздно, — предупредил Шергаев.

Он нагнулся и поднял с пола кусочек тонкого стекла с запекшейся кровью: “Откуда оно?” Запрокинул голову. Под потолком разбитая лампочка.

Кротова, не понимая куда смотрит начальник, тоже посмотрела вверх.

— Она разбила лампочку и стеклом порезала вены, — Сергей Шалвович поморщился и направился к выходу. — Распорядитесь, чтобы ее убрали отсюда.

Сергей Шалвович не на шутку встревожился. В его лагере самоубийств еще не было, за что его изредка ставили в пример начальникам других лагерей. Умирать умирали, на самоубийств не было. Правда, случалось иногда, что заключенные пытались порезаться или причинить себе еще какие-нибудь увечья, но это делалось из других побуждений: человек получал несколько дней отдыха.

Просматривая личное дело Марфы Алексеевны Николаевой, бывшего главного бухгалтера строительного треста, капитан почти не обращал внимания на скудные анкетные данные. Они его не интересовали. О жизни этой женщины он знал намного больше из других источников.

Не так давно, года три назад, в лагере появилась мать заключенной, совсем дряхлая старушка. Она не плакала, как это делали приезжие родственники, и ни о чем не просила. Просто положила на стол целую стопку грамот, характеристик, каких-то справок. Когда он спросил, зачем ему эти бумаги, она, стыдясь своей нескромности, сказала: “А ты, сынок, не сердчай... В этих бумажках-то вся жизнь моей Марфеньки. Что ни год, то давали... И на тебе — вор...” Он и не сердился. Он даже разрешил свидание с дочерью и помог старухе добраться до ближайшей станции. А грамоты действительно вручались Николаевой часто. Но был и суд за растрату...

Когда он заинтересовался делом Николаевой, его неожиданно предупредили: “Начальник лагеря — не адвокат. Занимайтесь своей работой”. Позже Шергаев узнал, что в растрате был повинен управляющий трестом и что его тоже судили.

Сергей Шалвович отложил дело в сторону, подошел к окну. Тяжело вздохнул: “Старею. Нервы что-то пошаливают. Неужели свое отработал?”

В кабинет заглянула София Кротова:

— Товарищ капитан, Николаеву забрали.

— А постель?

— Уже сменили.

Он кивнул головой.

— Хорошо. Агонова ко мне.

София исчезла. И сразу же появился лейтенант Агонов. “Все собрались”, — удовлетворенно отметил Шергаев.

— Андрей Иванович, займитесь похоронами. Николаева в холодной.

Агонов ожидал приказаний, но их не было. Шергаев отвернулся к окну и глухо обронил:

— Похороните как следует...

Агонов вышел. Его уже ждали лейтенант Аносов и старшина Якунин:

— Ну как он?

— Как, как?.. Ясное дело, переживает...

Дверь тихо отворилась. На пороге стоял Сергей Шалвович:

— Заходите.

6. Разбор

Свичарская черкала красным карандашом по листу бумаги и молчала. Кротова стояла, низко опустив голову. Еще четверо надзирательниц сидели чуть в стороне.

— Товарищ сержант, — оправдывалась Соня, надув и без того полные губы, — я несколько раз проверяла бараки... Все было тихо... Я бы никогда не подумала на Николаеву...

— Она так хотела вернуться на волю, — грустно вставила молчаливая Оксана Пыталева или, как ее называли между собой заключенные, тетушка Оксана.

— Да, хотела... — покачала головой Сви-

чарская. — Выговор, Кротова, вы уже себе заработали. Слово теперь за начальником.

— Может уволить? — испугалась Соня.

— К сожалению, может.

Настойчиво зазвонил телефон. Свичарская взяла трубку.

— Да, да, я. Да... да... Есть. — Послышались гудки. — Ну, вот. К себе требует, — она развела руками. — Так, товарищи, можете быть свободными. Все, кроме Кротовой.

— И меня вызывает, — вздрогнула Соня.

— Да.

Шергаев стоял возле шкафа и пытался поставить книгу на верхнюю полку, но никак не мог до нее дотянуться. Он пыхтел. Даже приподнимался на носках, но ему мешал живот. Свичарская и Кротова в нерешительности остановились. Валентина Антоновна громко кашлянула. Шергаев растерялся, неожиданно покраснел и выпустил книгу из рук. Потом нагнулся, поднял и положил на стол.

— Заходите, заходите... Почему я вас вызвал, надеюсь, знаете, — рокотал Сергей Шалвович, поудобнее усаживаясь. — Дело не столько в самоубийстве, сколько в вашей халатности. Не я ли вас спрашивал, — обратился он к Кротовой, — все ли бригады отправились на работы? Что вы мне ответили?

Кротова перебирала пальчиками складки гимнастерки и молчала.

— Вы даже не заметили исчезновения Николаевой. В итоге просмотрели человека. А кто будет бороться за человека, как не мы с вами?

— Товарищ капитан, я...

— Что я? — закричал Шергаев. — Нет “чепэ”, — можно ничего не делать... Не позволю! Не можете работать — давайте рапорт. Я давно это вам предлагал.

Его голос задрожал на высокой ноте и сорвался. Шергаев схватился за грудь и затрясся от кашля. Свичарская налила в стакан воды и подала Сергею Шалвовичу.

— Спасибо, — прохрипел он.

Соня плакала. Тихо, почти беззвучно. Увольнение испугало ее. В свои тридцать лет Кротова была тем великовозрастным ребен-

ком, который нуждался в постоянной защите, и которого одолевал панический страх перед неизвестностью. Этот страх родился давно, в один из звездных рассветов детства, когда бандиты вырезали половину села. Выплакавшись над растерзанными телами матери и отца, Соня навсегда покинула родные места. Страх гнал ее вглубь страны. Выросшая в детском доме, она осталась в нем воспитательницей. А в начале войны вместе с детьми эвакуировалась на Урал. Возможно, она так и работала бы воспитательницей, если бы не Николай. Тихая и скромная девушка приглянулась путевому обходчику. А она, в благодарность за внимание, из сочувствия к юноше, израненному на фронте, согласилась стать его женой. Но непродолжительным оказалось счастье. Ровно через год, спасая из-под колес поезда ребенка, Николай погиб сам. После похорон мужа Соня не могла больше оставаться в этом городе. Нехватка надзирательниц в лагерях для женщин и решила дальнейшую судьбу Кротовой. Так она оказалась на Севере.

Соня плакала. Громко, навзрыд. И совсем по-детски. Сергей Шалвович все еще тяжело дышал, прижавшись к спинке стула. Свичарская внимательно рассматривала муху, которая невесть откуда появилась среди зимы и сонная ползала по полу.

Шергаев вытащил из кармана носовой платок и промокнул на лбу крупные капли пота.

Он поднялся из-за стола. Брезгливо попросил:

— Перестаньте реветь, что ли...

А для себя пробурчал: “Черт знает что. Детский сад собрался”. Видя, что Кротова ожидает каких-то определенных слов, он объявил ей выговор и пригрозил:

— Малейшее нарушение замечу, выгоню.

Ошалевшая от радости, Соня согласно кивала головой и пятилась к двери. Шергаев смотрел ей вслед, и как только Кротова исчезла, удивился:

— Как все-таки мало человеку надо для счастья! Всего пара успокаивающих слов. А сколько еще будет горьких минут в жизни этой самой Кротовой!.. И может сломаться. Люди такого склада рады каждому слову. Обидно только, что эти слова мы стесняем-

ся произносить громко... Стараемся обойтись без них.

Валентина Антоновна никогда еще не видела своего начальника таким взволнованным. Возбуждение молодило его, делало привлекательнее. Сергей Шалвович открылся ей с незнакомой стороны.

— Товарищ капитан, я могу быть свободна? — осторожно спросила Свичарская, когда Шергаев замолчал.

Он ее не слышал.

— Не так мы работаем, Валя, — Сергей Шалвович вздохнул. — Не так. Ты знаешь, что мне час назад заявил Агонов? “Может, памятник Николаевой поставить?” Даже страшно, что такие люди распоряжаются чужими судьбами...

— Вам надо отдохнуть, товарищ капитан.

— Да, наверное, уже пора. Как твой малец?

— Ничего. Спасибо.

— Сейчас трудно отсюда выбраться. До весны подождешь?

— А у меня и отпуск весной...

— Оставь в покое свой отпуск. Я имею в виду — совсем.

— Как совсем?

— А вот так. Чьи это рапорта? — Шергаев положил на стол несколько листочков бумаги. — Не мои же... Молчи, молчи, — усмехнулся капитан, понимая, что разволнованная женщина хочет что-то сказать. — Куда поедешь, если не секрет?

— Домой, к маме.

— Значит, на Украину, — уточнил Шергаев и мечтательно добавил. — Сады...

7. Отъезд

Пришла весна. Снег засосало болото. В конце лета оно обычно становилось приютом комаров и издавало неприятный запах. Весна постепенно растворилась в ежедневных заботах и тревогах. Жизнь в лагере шла своим чередом: то размеренная и тихая, то насыщенная всевозможными выходками заключенных. Отсидев несколько суток в камере, потолок которого даже летом не покидала изморозь, дебоширы успокаивались. Но

ненадолго. О Николаевой почти не вспоминали. Да в этом и не было никакой необходимости. С одной стороны, ее робкая, скрытная натура удивляла и даже интриговала окружающих ее людей только при жизни, а с другой — ее забыли через несколько недель после похорон еще нескольких самоубийц, уставших ждать амнистию. Лишь изредка кто-то из конвоя, везя на кладбище очередной труп, зло шутил: “Удачной оказалась Марфа на почин”. Еще вспоминала Николаеву Валентина Антоновна. Но она мало думала о самой женщине, больше о ее смерти — предчувствуя исход, она ничего не смогла сделать, чтобы предупредить его. И винила себя в этом. Чаше матери, пожалуй, вспоминал Марфу Виталик. Сначала долго плакал. А потом успокоился, часами сидел молча и смотрел на раковину. Он даже перестал ходить в зону. Свичарская заметила, что сын изменился — стал угрюмым и замкнутым. Она объяснила это проявлением особых, возрастных, черт характера ребенка.

В один из солнечных дней к лагерю по лежневке прибыла машина из управления. Шофер вынес из кабины на руках старую женщину и поставил ее на сухое место. Заглушив мотор, он пошел в штаб, а женщина присела на крылечке.

Капитан Шергаев собирался уходить на пенсию и поэтому лежал в госпитале на обследовании. Его замещал Агонов. Уверенный в том, что начальник больше не появится в своей прежней должности, Павел Игнатьевич расположился в его кабинете и переставил мебель по своему вкусу.

Когда раздался стук в дверь, он, чувствуя себя еще неудобно в новом кабинете, хотел крикнуть: “Войдите!” — но передумал. Через окно он увидел машину. Поспешил навстречу.

Вошел шофер.

— Ну и дорога к вам, — сразу начал жаловаться, здороваясь на ходу.

Агонов с готовностью пожал руку шоферу. “Может, этот неуклюжий сержант привез рапорт о назначении”, — тешил себя надеждой Павел Игнатьевич.

— На восьмом километре бревна прогнили. Завтра их будут менять. А так, по-мое-

му, лежневка в порядке, — оправдывался Агонов, пододвигая стул сержанту.

— Звонили к вам, звонили. А все бестолку.

— Половодье... Несколько столбов в трясину ушло. Завтра новые поставим.

— Послали приказ вам вручить, — сержант вынул из нагрудного кармана вчетверо сложенную бумажку и отдал Агонову. — А на словах просили передать, чтобы Свичарская не задерживалась. Завтра утром отходит поезд. А в управлении ей надо еще забрать документы.

“При чем тут Свичарская?”, — недоумевал Агонов.

Но когда Павел Игнатьевич прочитал приказ, он понял все. Увольнялась Свичарская, а о нем и не упоминалось. Он посмотрел даже на обратную сторону приказа. Бумага была чистая.

— Сколько понадобится времени Свичарской, чтобы сдать дела? Я должен забрать ее.

“О чем он? — Агонов, не понимая, посмотрел на сержанта. — Толстогубый баран... Свичарская... Свичарская...” Он чуть было не закричал от злости, но сдержал себя.

— Черт ее знает, — грубо ответил Агонов. — Она в кабинете. Договаривайтесь сами.

— Я тут старуху одну привез, — сказал сержант, собираясь уходить. — Дочь у нее здесь заключенная... Хочет повидаться с ней.

— Кто тут начальник? — взорвался Агонов. — Я или кто? Свидания запрещены. Забирайте ее отсюда, и чтобы духу не было...

Валентина Антоновна сдала дела Кротовой. Угостив шофера и старуху украинским борщом, начала укладывать вещи. Старуха, поблагодарив Свичарскую за гостеприимство, начала жаловаться:

— Юра говорит, что ваш главный не разрешает с дочкой повидаться... а мне обеща-ли...

— А к кому вы приехали, бабушка? — поинтересовалась Валя.

— К доченьке своей...

— Как ее звать?

— Марфенькой звать ее, деточка, Марфенькой... Николаевой...

Валя вздрогнула и выпустила из рук вазу. Она ударилась о край стола, разбилась на две части и, соскользнув на пол, рассыпалась на мелкие осколки.

— Что же ты так неосторожно, — пожурив старуху Валю. — Такую дорогую вещь разбила.

Валя проглотила застрявший в горле комок:

— Нет ее тут, бабушка.

— Неужто перевели куда?

— Да, перевели.

— А далече?

— Далеко...

— Вот ведь какие люди разные на свете, — она повернулась к шоферу. — В прошлый-то раз сам начальник со мной беседу имел. И к поезду доставил. А почему так? — рассуждала старуха. — Все дело от ума. Ум с годами приходит. А этот? Господи, зеленый совсем, а уж важничает... Я в стекло глядела, как он пыжится... Ну, все одно, что птенец воробушкин.

Когда загрузили вещами машину, старуха начала слезно просить Свичарскую:

— Умирать буду скоро. Так ты мне, доченька, скажи, как найти Марфеньку?

Валя молчала. Она не знала, что ответить женщине. Только крепко прижимала к себе сына, глаза которого потускнели и, не мигая, смотрели вдаль. Она еле сдерживала слезы.

— Вы не волнуйтесь, бабушка. Поезжайте домой. Скоро дочку освободят... Будете вместе...

— Ох, чует мое серденько, не увижу я ее больше, — переживала уже в кабине старуха.

Свичарская с сыном устроились в кузове и, обняв друг друга, тоже плакали.

— Прощай, Север! — сквозь слезы прошептала Валя, когда машина осторожно двинулась с места, как бы щупая пригорок, на котором только что стояла, боясь съехать с него мимо лежневки, в болото.



ЕРЁМИН Николай Николаевич родился 26 июля 1943 года в городе Свободном, Амурской области. Окончил Медицинский институт в Красноярске и Литературный им. А. М. Горького в Москве. Член СП СССР с 1981 г. и Союза российских писателей с 1991 г. Автор книг прозы «Мифы про Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья». Три тома его собрания сочинений (издательство «Платина») включают в себя стихотворения, написанные в XX веке. В четвёртом и пятом томе — новые рассказы и стихи. Поэтические книги: «Идея фикс», «Лунная ночь», «Поэт в законе», «Гусляр», «О тебе и обо мне», «На склоне лет», «Тайны творчества», «Бубен шамана», «От и до», «Кто виноват?», «Владыка слов», «Гора любви», «В сторону вечности», «Папа русский», «Тень бабочки и мотылька», «Поэзия как волшебство»,

«Смирительная рубашка», «Подковы для Пегаса», «Сибирский сибарит» изданы уже в XXI веке. Н. Н. Ерёмин — лауреат премии «Хинган». Победитель конкурса «День поэзии Литературного института-2011» в номинации «Классическая Лира». Дипломант конкурса «Песенное слово» им. Н.А. Некрасова. Не случайно его стихи «По Николаевке цветёт черёмуха», «Как много женщин молодых!», «Олимпийская медаль» и многие другие стали песнями. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Бийский вестник», «Вертикаль» — Нижний Новгород, «Огни Кузбасса» «Провинциальный интеллигент», «Интеллигент» — Санкт-Петербург, «Русский берег» — Благовещенск, в Китае — город Синьян (на китайском языке), во «Флориде» — город Майами, в «Журнале ПОэтов» Константина Кедрова (№5, 2012 г.)

Живёт в Красноярске Телефон: 8 950 401 301 7. E-mail nikolaier@mail.ru

Высшие алкогольные курсы

Рассказ

— В вашем алкоголе крови не обнаружено! — сказала врач-лаборант, вручая мне результаты анализов.

Я был рад. Это означало, что после двух месяцев, проведённых в Москве на курсах, я получаю диплом с отличием и солидное денежное вознаграждение.

Два месяца пролетели в столице нашей родины, как два неповторимых дня и одна незабываемая ночь...

Как сейчас помню, пригласил меня в кабинет мой шеф, редактор газеты «Абаканский трезвенник» и спросил:

— Александр, хочешь пожить в Москве два месяца за государственный счёт?

— А в чём дело? — ответил я вопросом на вопрос.

— А дело в том, что пришла путёвка из ЦК КПСС. При ВПШ в связи с очередной кампанией по борьбе с пьянством и алкого-

лизмом организованы курсы, на которых волонтеры, молодые коммунисты, будут обучаться искусству пить и не пьянеть, чтобы потом во всеоружии быть направленными на партийную работу. Мы всей редакцией обсудили эту проблему, и я решил предложить путёвку тебе. Ты — молодой специалист, только что окончивший факультет журналистики, ты — молодой коммунист, только что вступивший в партию, чтобы жить по-коммунистически. В конце концов, ты — единственный, кто в редакции не пьёт, не знаю, почему: или болен, или себе на уме. Остальные люди — с солидным алкогольным стажем и в повышении квалификации не нуждаются. Так что, вот тебе путёвка, по глазам вижу, что ты согласен. Как сказал учитель мирового пролетариата? Учиться! Учиться! И ещё раз учиться! Вот и учись, по-ленински, по-коммунистически!

И я оказался в Москве.

Днём — обучение, лекции и практические занятия на курсах при Высшей Партийной Школе, а вечером и ночью — проживание на улице имени великого критика Добролюбова, вместе со студентами, в общежитии Литературного института.

Четыре этажа занимали очники и заочники, будущие писатели, поэты и критики, а два верхних — будущие партийные работники, курсанты. Студенты — по четыре человека в комнате, а курсанты — по одному. Живи в своё удовольствие!

На первом этаже — приветливый вахтёр, бывший вохровец. За его спиной лифт. По стенам лестничных пролётов — добродушные портреты классиков русской, советской и мировой литературы.

Сейчас там, говорят, висит в багетной позолоченной раме портрет и поэта Николая Рубцова. А тогда мы с ним почти каждый вечер в лифте встречались и всегда в приподнятом, а то и в возвышенном состоянии, стараясь перед вахтёром сделать вид, что мы — совершенно трезвые.

Вахтёр приветливо улыбался и говорил:

— Опять поддатые? Ну-ну, старого вору на мякине не проведёшь! Проходи-те, только больше — ни-ни!

И мы шли — к Николаю или ко мне, две эдакие серые весёлые мышki, одетые в серые, по тогдашней моде, костюмы и в серые свитера, а-ля Хемингуэй.

Сядем за стол, выпьем — и начинает он читать свои стихи, не остановишь. Талантище, без всяких сомнений, так за душу берёт! Как сейчас, слышу его проникновенный голос:

«Эх, ребята, зарыдать хочется!

Хошь мы пьём, ребята, хошь не пьём, —

Всё одно помрём, как говорится,

Все, как есть, когда-нибудь помрём...»

А между тем очередная кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом набирала обороты.

Магазины торговали только водкой и только с 11-ти часов утра до 18-ти вечера, и только по талонам. Очереди — как к мавзолею Ленина на Красной площади вдоль Кремлёвской стены. Смельчаки брали прилавки штурмом, пробираясь буквально по головам. В результате хорошо организованного дефицита водки на всех катастрофически не хватало.

Однако нас, курсантов Высших Алкогольных Курсов, «выалкашников», проблема дефицита касалась совсем по-другому.

Руководила курсами Полина Георгиевна Хорошевская. Красавица, крашенная блондинка, принципиально незамужняя, ах, влюбчивая и страстная. В этом я убедился на собственном опыте.

Она, как тогда говорили, сразу положила на меня глаз, после того, как на первой лекции я, единственно смелый, задал ей вопрос:

— Скажите, а способствует ли алкоголь улучшению взаимоотношений между мужчиной и женщиной?

— Способствует! Да ещё как! — воскликнула она.

И стала заниматься со мною по индивидуальной программе, гармонично сочетающейся с общей программой обучения.

В конце концов она так в меня влюбилась, что сделала предложение выйти за неё замуж и остаться в Москве.

Все два месяца я тянул с ответом.

Полина Георгиевна была прекрасным теоретиком и практиком.

Она организовывала рейды курсантов по торговым точкам, стоянкам такси и по квартирам.

Прикинувшись простыми потребителями, мы изымали палёную водку у продавцов и таксистов.

Предъявив удостоверения курсантов, мы изымали змеевики из самогонных аппаратов у народных умельцев, занимающихся изготовлением первача в домашних условиях. Мы производили органолептические исследования изымаемых жидкостей, то есть просто пили и говорили, хорош или нет напиток. А потом, веселясь, составляли протоколы для привлечения изготовителей к административной или уголовной ответственности.

Это Полина обучила меня пить и казаться трезвым.

Это Полина обучила меня заниматься любовью и притворяться влюблённым.

Это Полина вручила мне диплом с отличием и направление на должность Секретаря по идеологии в Краснопресненский район партии столицы.

Это Полина, когда я сказал, что не люблю её и не желаю больше притворяться трезвым, а тем более — влюблённым, отобрала у меня партийный билет, диплом и направление...

А когда я вернулся в родную газету «Абаканский трезвенник», это Полина настучала на меня, после чего я оказался безработным и фактически на улице, потому что и из партийного общежития прекрасного нашего сибирского города Абаканска меня выселили мгновенно.

И вот, когда стоял я, нищий, голодный и совершенно трезвый у паперти Покровского храма с протянутой рукой, подошёл ко мне настоятель храма отец Порфирий и произнёс:

— Как зовут тебя, сын человеческий?

— Александром, — ответил я пересохшим голосом.

— А не тот ли ты Александр, который пострадал от коммунистов, когда окончил Высшие алкогольные курсы?

— Тот самый, батюшка!

И взял меня отец Порфирий за протянутую холодную мою ладонь, и провёл в храм Божий, и покрестил меня, атеиста, безбожника, в веру христианскую, и сделал меня своим пресекретарём, сказав:

— Ну, вот, что, Александр, сын Божий, будешь ты теперь жить со мною рядом, в отдельной келье Свято-Преображенского монастыря, что на берегу Енисея. И станешь обучать меня всем тем премудростям, которым тебя обучили в Москве!

И преобразился я.

И согласился.

И за две недели обучил отца Порфирия искусству пить и не пьянеть, то есть притворяться трезвым.

Сколько лет прошло-пролетело с той поры!

И где та атеистическая страна, в которой я жил?

И где та КПСС и её ВПШ?

И где Николай Рубцов, убиенный супругой своею?

И где отец Порфирий, который разглядел меня, убогого и одинокого, среди рабов Божьих? Меня спас, а сам, увлёкшись, сгорел в Геенне Огненной...

И где тот век двадцатый, с Рождества Христова?

Вот он, двадцать первый, — на дворе монастырском, где я до сих пор дрова рублю для монашеской братии, в колокола бью и, глядя на холодные воды протекающего мимо отрогов Саянских Енисея, радуюсь, что Господь наш милостив ко мне, и до сих пор жив я и здоров...

Вот, услышал недавно по радио, что депутаты Государственной думы новую кампанию по борьбе с пьянством и алкоголизмом затевают.

И вспомнились мне московские курсы.

Два поколения, почитай, уже народилось и сменилось, не грех и припомнить дела давно минувших дней, после которых я сам ни капли спиртного в рот не беру да и другим не советую.



Александр КОБЕЛЕВ
 (г. Новонкутск, Иркутская область)
 Дважды лауреат Международного
 поэтического конкурса «Звезда полей»
 имени Николая Рубцова.

«Если в думах сокровенных...»

Отставший гусь

Он низко-низко пролетел,
 Пронзительно кричал.
 Осенний луг росой блестел
 И гуся привечал.

Не опустился гусь на луг,
 Рванулся ввысь опять,
 Чтоб улетающих на юг
 Сородичей догнать.

Мои сородичи уже
 Влетели в новый век,

А я сижу на рубеже,
 Отсталый человек.

Отстал, а всё-таки я рад,
 В век новый не хочу.
 Пусть все летят куда хотят,
 А я не полечу.

Пусть буду снегом погребён.
 Мне юг не по нутру.
 В двадцатом веке я рождён,
 В двадцатом и умру.

Сложу покорно два крыла
 И навсегда уйду
 В Россию ту, что умерла
 В семнадцатом году.

Любитель природы

В преддверье непогоды,
 Когда мороз крепчал,
 Любителя природы
 В лесу я повстречал.

Он разговор заводит,
 Что любит лес до слёз.
 И тут на нас выходит
 Семейка диких коз.

До выстрела дуплетом
 Он мне сказать успел:
 Коль был бы он поэтом,
 Природу бы воспел.

Бежит, отбросив водку,
 Забыв ружьё в лозе.
 Перерезает глотку
 Подстреленной козе.

Вот так писал он оду
 Своим ножом в крови.
 Избави, Бог, природу
 От такой любви.

Вера

Как трудно мне поверить в Бога,
 Всего себя Ему отдать.
 Ведёт меня к Нему дорога,
 Конца которой не видать.

Но вся ли вера на иконах,
 На куполах и на крестах,
 В молитвах, в колокольных звонах,
 В трёх вместе сложенных перстах?

И знаков, и знамений много,
 Как много штампов и клише.
 А я хотел бы верить в Бога,
 Чтоб был Он у меня в душе.

Вещий камень

Над дорогою ночью
 Тьма кромешная до жути.
 Вдруг он вырос предо мною,
 Камень вещий на распутье.

Там на камне ворон-птица,
 Буквы светятся зловеще.
 И лежит он как граница
 На распутье, камень вещий.

Но шагну за эту грань я,
 Не читая, что на камне.

Там на камне — предсказанья,
 Не нужны они пока мне.

Я не верил никогда им,
 И вы тоже им не верьте.
 Лучше жить, когда мечтаем
 И не знаем дату смерти.

Бродяга

Солнца утреннего свет
 Шлёт мне пламенный привет,
 И скрипят мои штиблеты,
 И конца дороги нет,

И мелькает взад-вперёд
 Проезжающий народ.
 Только я один шагаю,
 И улыбка во весь рот.

Эх, прощай, моя тоска!
 Грусть-печаль моя, пока!
 Вижу, кто-то проезжая,
 Крутит пальцем у виска,

А дорога хороша,
 Если ходишь не спеша,
 Если в думах сокровенных
 Успокоилась душа.

6 июня — Пушкинский день в России, 213 годовщина со дня рождения великого поэта. В марте 2012 года исполнилось девяносто лет со дня основания Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина в родовом имении Ганнибалов-Пушкиных (с. Михайловское, Псковская область). В этом номере журнала мы продолжаем экскурсию по Пушкинским местам в заповеднике с членом Союза писателей России Натальей Лаврецовою, одно время работавшей в музее в Михайловском, и экскурсоводом Александром Буковским.

Наталья Лаврецова

На экскурсию с Буковским

(Продолжение. Начало в журнале «Доля» №2)

Кухня и людская

Кухаркой в Пушкинское время была некая Неонила или Ненила. У нее был маленький сын Саша. И, вполне вероятно, Пушкин мог видеть из окон своей комнаты очаровательную сценку, которую вставил в свой роман «Евгений Онегин»:

Вот бегаёт дворовый мальчик,
В салазки Жучку посадив,
Себя в коня преобразив,
Шалун уж заморозил пальчик,
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно.

Справа от дома — помещение бывшей кухни. Сейчас это небольшой музей старинного псковского крестьянского быта. Вещи, которые здесь экспонируются, были собраны сотрудниками музея во время экспедиции по отдаленным уголкам Псковской губернии.

Есть очень любопытные экспонаты. Например, ложка. Но ложка не простая — о двух концах. Видимо, для того, чтобы пробовать разные блюда. Деревянные мутовки — образы современных миксеров. На столе формочка для печатанья пряников. На полке форма для изготовления бланманже. Медный таз для варки варенья. А вот поддужные колокольчики с надписью «дар Валдая»...

А если заглянуть в соседнюю комнату, можно увидеть там ступу. Возможно, именно в такой летала в сказках баба Яга. Но тут ее значение вполне утилитарное.

Здесь же — старинные салазки, игрушки, разнообразные куклы.

Все эти вещи и подобные им окружали или могли окружать Пушкина.

Но продолжим экскурсию на улице. Пройдем на скат Михайловского холма, откуда открывается прекрасный вид на речку Сороть, на озеро Кучане.

За домом

Вспомним описание усадьбы Евгения Онегина или дяди Евгения Онегина:

Господский дом уединенный,
Горой от ветра огражденный,
Стоял над речкою; вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали селы, здесь и там,
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад,
Приют задумчивых Дриад.

Дриады — это лесные нимфы. Здесь, скорее, подошли бы Наяды или Нереиды, реч-

ные, водные нимфы — воды здесь и вправду много.

Сороть втекает в озеро Кучане (или Петровское) и, вытекая из него, течет мимо Тригорского и в четырех-пяти верстах впадает в реку Великую.

За озером Кучане, на том берегу, в куще деревьев видна беседка. Это имение Петровское — двоюродного деда Пушкина Петра Абрамовича Ганнибала.

Здесь всего лишь три с половиной, четыре версты, если идти краем озера из Михайловского в Петровское. Зимой братья — родной дед Пушкина Осип Абрамович Ганнибал и двоюродный Петр Абрамович — могли ездить друг к другу в гости прямо по льду. Летом, естественно, на лодках.

Эту картинку можно живо представить и сейчас.

Со ската холма открывается типично русский пейзаж, своей лиричной простотой хватающий за сердце.

Но пройдем в баньку, единственную из построек, которая сохранялась с Ганнибаловских времен.

Банька

Банька действительно просуществовала с Ганнибаловских времен до 1944 года, когда немцы, отступая, сожгли ее. Не сохранилось ничего. Но остались описания баньки, описи, старые картины, воспоминания. Она восстановлена очень тщательно, вплоть до последней скобы.

В правой половинке дома — горница, где летом жила нянька Арина, Арина Родионовна. В этой комнате находится одна-единственная вещь, про которую доподлинно известно, что она принадлежала Арине Родионовне. К стыду нашему, никаких меморий, связанных с Ариной Родионовной, больше нет ни в одном музее России.

Вот в углу, на лавке, — ящик, шкатулка. Крышка приоткрыта и на внутренней стороне надпись: «Для черного дня». Это копилка. В 1826 году няня подарила эту шкатулку поэту Николаю Михайловичу Языкову. Он боготворил няню. Посвятил ей два

стихотворения. Полвека тому назад сибирские потомки Языкова вернули эту шкатулку, сейчас она находится на своем законном месте. Это и есть та единственная из меморий, которая дошла до нас от Арины Родионовны.

В горнице Арины Родионовны мы можем видеть клетку для канареек, светец с лучинами, посох, сундук. И неизменная герань — традиционное зеленое украшение усадеб того времени.

В одной связи с русской печью — голландская печь.

В соседней комнате — мыльня. Это не баня в традиционном смысле слова, а именно мыльня. Как сказано в описи 1838 года: «котел, посредственной величины, наверху — отверстие, куда заливается холодная вода, а внизу — кран, откуда выливается уже горячая вода».

Александр Сергеевич Пушкин был закаленным человеком. Употребив современную спортивную терминологию, можно сказать, что это был атлетически развитый человек.

Из воспоминаний одного из друзей Пушкина, критика, публициста: «Летнее купанье было в числе самых любимых его привычек, отчего не отставал он до глубокой осени, освежая тем самым физические силы, изнуряемые пристрастием к ходьбе. Он был самого крепкого сложения, и этому способствовала гимнастика, которой он забавлялся иногда с терпеливостью атлета. Как бы долго и скоро ни шел он, дышал всегда свободно и ровно. Он дорого ценил счастливую организацию тела и приходил в некоторое негодование, когда замечал в ком-нибудь явное невежество в анатомии».

Можно привести воспоминания Сухотина: «Лето было жаркое, и мы с братом часто ходили купаться в купальню, что против Летнего сада. Однажды мы увидели между купавшимися кудрявую черную голову человека, который нас поразил своей особенной замечательной физиономией. Он подплыл к нам и стал нас учить плавать по всем правилам искусства. Это был Пушкин, имя которого произнес вошедший в купальню князь Вяземский».

Хорошо сложен, силен, был неутомимым

ходоком, отличным наездником — прекрасно ездил верхом, ревниво относился к славе хорошего наездника. Брату Льву он пишет из Тригорского: «Пишу тебе в гостях с разбитой рукой. Упал на льду, не с лошади — а с лошадьё — большая разница для моего наезднического самолюбия».

Уместно здесь привести строчки из «Евгения Онегина»:

Но конь притупленной подковой
Неверно зацепляя лед
Того и жди, что упадет.

Пушкин отлично и фехтовал. Этому сложному искусству он обучился еще на манеже Царского села. Купался в любую погоду. Но, как вспоминал кучер Михайловского Петр Парфенов: «Не любил долго в воде оставаться. Бросится, уйдет во глубь, и назад. Он и зимою тоже купался в бане: завсегда ему была вода в ванне приготовлена. Утром встанет, пойдет в баню, расшибет кулаком лед в ванне, сядет, окатится, да и назад».

За околицей

Отсюда открывается прекрасный вид на речку, озеро Кучане и озеро Маленец. В своем стихотворении «Деревня» Пушкин пишет:

Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбака белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты.

Как видите, Пушкин описывал собственные «подвижные картины».

Едва ль не каждоедневно Пушкин ходил в гости к соседям в Тригорское.

Из Михайловского до Тригорского примерно две с половиной — три версты. Он шел, и поэзия ему сопутствовала. Как он пишет «Евгению Онегине»:

Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,

Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строк,
Они слетают с берегов.

Пушкин любил «пробовать» строчку на слух. Иногда такая декламация, жестикულიрование, приводило в недоумение встречных крестьян. Вообще зрелище необычное: идет барин, как говорили крестьяне, «не стрижен, не брит», в руках железная палка, он ее подкидывает, что-то говорит, при этом машет руками...

Один из крестьян Тригорского так вспоминал: «Пушкин часто бывал у покойницы нашей барыни, почти что каждодневно. Добрый был да ласковый, только немного тронувшись был. Палочка у него была такая железная, надо полагать, для собак ее брал. Так он, бывало, идет по Тригорскому парку с барышнями, палку вверх швырнет, а сам все припрыгивает да приплясывает. Али еще того чудней: раз это иду я в Зуево (крестьянское название Михайловского), а он мне навстречу. Остановился вдруг, ни с того ни с сего, будто на него столбняк напал. Ажно я испугался, да в рожь и спрятался. А он почал так громко говорить, да эдак, все на разные голоса, да эдак все чудно руками разводит».

Объяснение найти легко — Пушкин работает над «Борисом Годуновым».

Именно отсюда 7 ноября 1825 года он пишет Вяземскому: «Трагедия моя окончена. Я прочел ее вслух, один, бил в ладоши и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

Трагедия его увидит свет лишь в конце тридцатого года с некоторыми цензурными искажениями, но в сценическом воплощении поэт ее так и не увидит.

Савкина горка

За озером Маленец хорошо просматривается склон Савкиной горки. На ней когда-то стояла Псковская крепость. Причем археологи, ведущие там раскопки, находили фрагменты предметов, датируемые XI-XII веками, то есть очень древнее поселенье.

Как это часто бывало в Российской исто-

рии, Савкинская крепость перестала удовлетворять возросшим стратегическим потребностям. Крепость перенесли на версту далее, на Воронич.

Мы даже не знаем, как называлась настоящему Савкинская крепость. Возможно, и она называлась Воронич, так как Сороть, протекающая между двух озер, напоминает воронку. Свое теперешнее название горка получила по имени некоего попа Саввы, который в 1513 году похоронил здесь русских воинов (очередная стычка с Литвой, эти стычки не прекращались до конца XVII века), поставил каменный крест и на его ложе высек: «Лета 7021 (от сотворения мира) поставил крест Савва поп». Те, кто владеет знаниями древнерусского языка, могут прочесть и сейчас эту надпись.

Рядом с крестом — часовня.

В средние века там стоял пустынный монастырек в честь Михаила архистратига. Название монастыря и дало название всей этой местности, отсюда — сельцо Михайловское.

На Савкиной горке очень красиво. Одно время именно там хотел поселиться Пушкин. Михайловское ему практически никогда не принадлежало — это было имение родителей. В одном из писем он обращается к своей Тригорской соседке Прасковье Александровне Осиповой: «Я попросил бы вас как хорошую хозяйку и дорогого друга узнать, не могу ли я приобрести Савкино и на каких условиях. Я построил бы себе там дом, поставил бы свои книги и проводил возле добрых и старых друзей несколько месяцев в году».

К сожалению, мечтам Пушкина поселиться на Савкиной горке не суждено было осуществиться. Отъезд в деревню царь сопровождал условиями, которые делали переезд невозможным.

Пушкина преследовал рок: когда он в ссылке — он рвется отсюда в Петербург, в Москву или в чужие края. Когда он в Петербурге — рвется в деревню.

Мечтой о деревенском покое, о вольной деревенской жизни проникнуты его стихотворения, адресованные жене:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит—
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить... И глядь — как раз — умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля—
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

«Обитель дальняя» — это и Михайловское, и Тригорское, и Болдино, и Малинки, и вообще — деревня русская.

Часовня, которая стояла здесь при Пушкине, к XX веку совершенно развалилась, жители деревни Савкино говорили, что из досок этой часовни рябятишки делали плоты и плавали на них по Сороти.

Но, тем не менее, Савкина горка — место совсем особенное, связанное с душой, с мечтами поэта.

По пути в Тригорское

Пешеходная тропа, которой следует экскурсия дальше, идет по старой дороге вдоль озера Маленец. Именно ее Пушкин описал в стихотворении «Вновь я посетил», созданном в один из последних приездов в Михайловское, осенью 1835 года. Есть там такие строки:

Вот холм лесистый, на котором часто
Я сиживал недвижим и глядел
На озеро, вспоминая с грустью
Иные берега, иные волны.

Этот же «холм лесистый» мы можем видеть и сейчас за озером Маленец.

Меж нив золотых и пажитей зеленых
Оно, синее, стелется широко...

...там, за ними

Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре.

Мы так же можем видеть и мельницу, и те же дали. Они, практически, не изменились — два столетия для них слишком короткий срок, мы смотрим на них его глазами.

Дальше Пушкин упоминает «границу владений дедовских», вблизи которых росли три сосны, воспетые им в этом же стихотворении:

На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят...

Когда Пушкин отправлялся навестить соседей в Тригорское, он проходил это место. Здесь и сейчас растут три сосны. Росли они там и при Пушкине. Но последняя Пушкинская сосна была сломлена бурей в 1895 году. В заповеднике, в запасниках, хранится кусок ствола этой сосны и дощечки из нее же, на которых выгравированы слова Пушкина из этого стихотворения. Дощечки эти изготовил сын Пушкина, Григорий Александрович. Сосны, которые мы видим сейчас, посажены после войны:

... одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко...

Об этих соснах Пушкин упоминает не только в стихотворении, но и в письме, которое он пишет отсюда жене осенью 1835 года: «В Михайловском нашел я все по старому, кроме того, что нет в нем няни моей, и около моих знакомых сосен поднялась сосновая семья, на которую, впрочем, досадно мне смотреть, как иногда досадно видеть кавалергардов на балах, на которых я уже не пляшу. Но что делать, все вокруг меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Например, на днях мне встретилась одна знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменялась. А она мне: «да и ты, мой кормилец, состарился да и подурнел». Хотя могу сказать я вместе с нянею моей: хорош я никогда не бы, а молод был».

И, хотя Пушкин неодобрительно отзывался о молодой поросли, все же в стихах восклицает:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое!

Это обращение к людям, к соснам, ко всему сущему и живущему.

Невдалеке от сосен большой камень-валун, на котором написано: «Граница владений дедовских». Здесь действительно проходила граница владений деда поэта, Осипа Абрамовича Ганнибала.

А впереди нас ждет встреча с Тригорским.

Тригорское

От Михайловского до Тригорского две с половиной-три версты. Верста, напомним, — 1067 метров.

Название Тригорского легко объяснимо: три горы. Одна из них — деревня Воронич — некогда посад богатейшего псковского пригорода Воронича. Справа, если идти от Михайловского, — городище Воронич, еще правее — гора, на которой и находится имение друзей Пушкина, владельцев Тригорского. Туда направляется и наш путь.

В Тригорском Пушкин бывал чуть ли ни каждодневно. Марья Ивановна Осипова (дочь Прасковьи Александровны от второго брака) вспоминала: «приезжал он обыкновенно верхом, на прекрасном аргамаке, а то, бывало, приволочется и на крестьянской лошаденке... Приходил, бывало, и пешком; подберется к дому иногда совсем незаметно; если летом окна бывали раскрыты, он шаст и влезет в окно... Все у нас, бывало, сидят за делом: кто читает, кто работает, кто за фортепиано... Ну, пришел Пушкин, — все пошло вверх дном; смех, шутки, говор так и раздаются по комнатам».

Бесспорно, центром духовной жизни Пушкина было, конечно, Михайловское. Но, в то же время, Михайловское — это ссылка. А желание уйти куда-то, развлечься, рассеяться, поговорить, поспорить, провести время с приятными людьми приводило поэта в Тригорское. Туда, где его всегда ждали.

История Тригорского — типичная история дворянского гнезда. Земли эти в бывшей Егорьевской губе были пожалованы императрицей Екатериной второй коменданту Максиму Дмитриевичу Вындомскому.

Позже их унаследовал его сын, Александр Максимович Вындомский. Про него говорили, что это был образованнейший человек. Знал языки, собирал коллекцию картин. Некоторые из них и сейчас находятся в экспозиции музея. Была здесь и отличная, собранная им библиотека — ею охотно пользовался Пушкин. Пробовал он и писать. В 1802 году в петербургском журнале «Беседующий гражданин» было опубликовано его стихотворение «Молитва грешника кающегося». Когда Александр Максимович умер, имение переходит в руки его дочери, к Прасковье Александровне.

Эта женщина была другом Пушкина, начиная с первых томительных дней Михайловской ссылки и до последних часов его жизни. После гибели поэта она устроила в Тригорском уголок памяти Пушкина.

Пушкин, с его поразительной чуткостью, с его редкой способностью распознавать людей, всю свою жизнь не только осознавал другом Прасковью Александровну, он ощущал ее им. Всего лишь за месяц до гибели писал в Тригорское: «Вы не поверите, дорогая Прасковья Александровна, какое я получил удовольствие, читая ваше последнее письмо. Я не имел от вас известий целых четыре месяца. С большим сожалением я вынужден был отказаться от этого места, которое предпочитаю всем другим. У меня большое желание приехать этой зимой ненадолго в Тригорское. Мы поговорим обо всем этом. А тем временем я шлю привет вам, вашему семейству от всего сердца».

Но этой зимой Пушкин уже не приедет в Тригорское. Его сюда привезут. Его убьет Дантес.

Прасковья Александровна была дважды замужем, дважды овдовела. От первого брака с Николаем Ивановичем Вульфом — пятеро детей: Михаил, Валериан, Анна, Евпраксия, Алексей. О Михаиле и Валериане мы здесь не говорим — Пушкин их почти не знал.

После смерти Николая Ивановича Вульфа Прасковья Александровна выходит замуж за местного мелкого чиновника и помещика Ивана Сафроновича Осипова. От этого брака еще двое детей — Машенька и Катенька.

В Тригорском постоянно проживала падчерица хозяйки дома Александрина Осипова. Та самая Алина, которой Пушкин посвящает один из своих лирических шедевров, стихотворение «Признание»:

... Алина, сжальтесь надо мною,
Не смею требовать любви,
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою.
Но — притворитесь, этот взгляд
Все может выразить так чудно.
Ах, обмануть меня не трудно, —
Я сам обманываться рад.

Навещает Тригорское и племянница из Тверского края — Анна Ивановна Вульф (Неги), — и Анна Петровна Керн. Современники говорили про этот дом — «Дамский цветник».

С обитателями дома Пушкин сдружился легко, непринужденно, еще в самый первый приезд, в 1817 году. Безусловно, здесь ему нравилось: семья образована, культурна. Здесь читают, музицируют, играют его «божественного упоительного Россини». Все это правильно, все так. Но и не это главное. Здесь его очень любили.

Знакомство возобновляется в 1819 году, когда Пушкин снова в Михайловском. И перерастает в теснейшую дружбу, когда он живет два года в деревне. С 1824 по 1826 год.

И когда осенью 1824 года Пушкин пишет в Одессу своему знакомому Шварцу: «Я знаком только с одним семейством», — это было, безусловно, семейство обитателей Тригорского. Сейчас совершенно невозможно представить жизнь, творчество Пушкина, не будь у него под боком Тригорского с его замечательными обитателями.

Буфетная

Экспозиция на стене рассказывает о восстановлении усадьбы.

К сожалению, Тригорское не избежало печальной участи многих именитых усадеб — его спалили в 1918 году. Но уже тогда нарком просвещения Луначарский говорил:

«Восстановление Тригорского есть дело ближайшего времени». Однако по разным причинам восстановление затягивалось. Дом был реставрирован лишь в 1962 году.

На что же опирались при реставрации этого дома?

На стенке мы видим фотографический портрет знаменитого ученого, академика океанографа Юлия Шакальского. Это внук Анны Петровны Керн. Он жил в Тригорском какое-то время, составил планы (они перед вами), благодаря которым усадьба была восстановлена в высшей степени тщательно, полно.

Рядом — картина художника Мешкова с изображением Тригорского. Писана за два года до пожара, в 1916 году.

До нас дошли фотографии, интерьеры Тригорского, внешний вид дома. Это поздние фотографии, начала XX века, но и они помогали, когда решался вопрос о полном и точном восстановлении этого дворянского гнезда.

Возможно, вас удивила архитектура здания — она совсем не похожа на архитектуру зданий среднепоместного дворянства Пушкинского времени. И вот в чем дело: когда Пушкин жил в Михайловском в 1817 и в 1819 годах, он приходил вовсе не в этот дом. Старый господский дом находился за прудом, в глубине парка, с выходом на Сороть. Существовало неписаное правило: старые господские дома обязательно должны выходить на речку, озеро, пруд, чтобы были видны версты (дали).

В этом здании располагалась полотняная фабрика Вындомского — ткали парусину для отечественного флота. Фабрика была, выражаясь современным языком, крайне нерентабельна, прекратила свое существование в начале XIX века. Но в 20-х годах хозяйка решила отремонтировать старый господский дом и на время перебралась в здание бывшей полотняной фабрики. И, видимо, памятуя о том, что на Руси нет ничего более постоянного, чем временное, осталась здесь жить. Пристроила колонны, незамысловатую балюстраду, портик.

Старый дом долго стоял, разрушался, пока в середине 50-х годов XIX столетия не

сгорел от какого-то случайного выстрела. Пушкин бывал и в том доме, а в ссылочный период и в последующие приезды приходил именно в этот, незамысловатый, похожий «не то на манеж, не то на сарай», но вполне уютный внутри дом.

Как правило, рядом с буфетной была столовая. Туда и пройдем.

Столовая

За столом, подобному тому, на котором сейчас находятся предметы Пушкинского времени — вазы-холодильницы (для охлаждения Шампанского), блюда, поднос, самовар, — поэт мог видеть всю большую семью Прасковьи Александровны. Добавьте мысленно: здесь же, на столе, и банка с любимым Пушкиным крыжовенным вареньем. Тут его ждали всегда. И попробуйте представить обитателей Тригорского. Прежде всего, конечно, сестры Анна и Евпраксия. Рядом со старинным шкапом на стенке — очаровательные силуэты. Это они, сестры Вульф. Такие силуэты были очень модны в Пушкинское время.

Анна Николаевна Вульф — ровесница Пушкина, унылая, очаровательная, романтическая особа. Своей мечтательностью, романтичностью она многим напоминала Татьяну Ларину. Пушкин посвящает Анне Николаевне несколько прекрасных стихотворений, в частности:

Я был свидетелем златой твоей весны,
Когда напрасен ум, искусства не нужны,
И самой красоте семнадцать лет замена.
Но годы пронеслись, настала перемена,
Ты приближаешься к сомнительной поре,
Что меньше женихов толпится на дворе,
И реже звук похвал твой слух обворожает,
А зеркало сильней грозит и устрашает.
Что делать...

Анна Николаевна была безнадежно влюблена в Пушкина. А какие письма она ему писала! Замуж так и не вышла. Судьба ее печальна.

Рядом — силуэт ее младшей сестры Евп-

раксии Николаевны. Многие находили, а обитатели Тригорского дома в первую очередь, что своей резвостью, игривостью, легкомыслием, если хотите, она напоминала Ольгу Ларину.

Как-то она порвала одно из стихотворений Пушкина, и он написал ей в альбом:

Вот, Зина, вам совет: играйте!
Из роз веселых заплетайте
Себе торжественный венец,
Но впредь у нас не разрывайте
Ни мадригалов, ни сердец!

В семье Евпраксию звали Зиной или Зизи. Цепочка такая: Евпраксия — Euphrosine — Зина — Зизи.

Может быть, в этой комнате, может, в соседней, а может, вообще в Михайловском произошел случай, о котором Пушкин пишет брату: «На днях я мерялся поясами с Евпраксией, и талии наши нашлись одинаково. Следственно одно из двух: или я имею талии тринадцатилетней девушки, или она имеет талию двадцатипятилетнего мужчины».

Здесь же портрет племянницы хозяйки, Анны Ивановны Вульф. В одном из писем брату Пушкин пишет: «Знаешь ли ты кузину Анну Ивановну Вульф? Esst ftmina».

Единственный мужчина в доме в годы ссылки поэта — старший сын Прасковьи Александровны, Алексей Николаевич Вульф. Его портрет находится на стенке с другой стороны от шкапа.

В шкапе сейчас посуда, которая была в Тригорском в пушкинское время. Стоит обратить внимание на две изящные вазочки: по преданию, Пушкин подарил эти вазы одной из сестер Вульф.

Алексей Николаевич Вульф числился студентом знаменитого немецкого Дерптского университета (ныне Тартуский университет). Однокашником его в то время был уже довольно известный поэт Николай Михайлович Языков. Портрет Языкова находится сейчас в соседней комнате.

Бодрые, мощные, крепкие, жизнерадостные стихи его очень нравились Пушкину. Он не раз звал Вульфа и Языкова приехать

сюда на вакации (каникулы), навестить его здесь, отдохнуть. В одном из посланий Пушкин пишет:

Здравствуй, Вульф, приятель мой!
Приезжай ко мне зимой,
Да Языкова-поэта
Затащи ко мне с собой!
Погулять верхом порой,
Пострелять из пистолета,
Лайон — мой курчавый брат,
Не Михайловский приказчик,
Привезет нам, право, клад:
Что? Бутылочка целый ящик!
Запируем уж, молчи,
Чудо жизнь анахорета —
В Троегорском до ночи,
А в Михайловском до света!
Дни любви посвящены,
Ночью — царствуют стаканы.
Мы же — то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены!

Наконец, летом 1826 года его мечта сбывается — сюда приезжают Вульф и Языков. Языков очень подружится с Пушкиным. И чуть позже напишет:

О ты, чья дружба мне дороже
Приветов ласковой молвы,
Милее девицы пригожей,
Святее царской головы...

Лето 1826 года — страшное лето в истории России. Казнь декабристов, ссылка декабристов. Пушкин сочувствовал декабристскому движению и ожидал репрессий со стороны правительства, которые были весьма вероятны.

Здесь можно видеть довольно редкий автопортрет Пушкина, переведенный на стекло. Обычно поэт рисует себя в профиль, здесь же — анфас. На обороте листочка, с которого снят автопортрет, — запись, сделанная рукой Алексея Вульфа: «Эскизы разных лиц, замечательных по 1 декабря 1825 года. Работы Пушкина во время пребывания в Тригорском в 1826 году».

Надо сказать, что Тригорское давало Пушкину не только отдых, застолье, но и

богачейший творческий материал. Где, как не в Тригорском, он мог видеть жизнь «господ соседственных селений». От Михайловского Пушкин помещиков отвадил — там они ему не докучали. А здесь он мог часто видеть, как собирается:

.....семья,
 Нецеремонные друзья,
 И потужить и позлословить,
 И посмеяться кое-чем.
 Проходит время... Между тем
 Прикажут Ольге чай готовить,
 Там ужин, там и спать пора,
 И гости едут со двора.

Хотя семья Прасковьи Александровны выгодно отличалась от большинства здешних помещичьих семей, но точно так же, как и семейство Лариных, это была простая, русская семья,

К гостям усердие большое,
 Варенье, вечный разговор
 Про дождь, про лен, про скотный двор.
 И снова строчки из «Онегина»:
 Они хранили в жизни мирной
 Привычки милой старины;
 У них на масленице жирной
 Водились русские блины;
 Два раза в год они говели,
 Любили круглые качели,
 Подблюдны песни, хоровод;
 В день Троицы, когда народ,
 Зевая, слушает молебен,
 Умильно на пучок зари
 Они роняли слезки три;
 Им квас, как воздух, был потребен,
 И за столом у них гостям
 Носили блюда по чинам.

В годы ссылки Пушкин работает над центральными главами «Евгения Онегина.» Их принято называть в литературоведении, в пушкинистике — «деревенские главы». То есть главы, рисующие жизнь и Онегина, и Ленского, и семейства Лариных. И многие исследователи творчества Пушкина считают, что, описывая деревенскую жизнь семьи Лариных, он мог описывать черты быта Три-

горского дома. И не случайно тригорский приятель Пушкина Алексей Вульф так прямо и заявлял: «Вся деревенская жизнь Онегина целиком взята из пребывания Пушкина у нас в губернии Псковской». С этим можно, с этим нужно, с этим должно согласиться.

С самим же Алексеем Николаевичем Вульфom мы познакомимся ближе в следующей комнате.

Комната Вульфа

В маленьком коридорчике, отделяющем столовую от комнаты Вульфа, — умывальный прибор от семейства Голенищевых-Кутузовых. Род Голенищевых-Кутузовых — старинный псковский род. Отец, мать, брат, сестра великого полководца похоронены на Псковской земле. Могилы их сохранились. Велика вероятность того, что и сам Михаил Илларионович Кутузов родился здесь, на Псковщине.

Комната тригорского приятеля Пушкина Алексея Николаевича Вульфа — типичная комната молодого среднепоместного дворянина Пушкинского времени. Пушкин скучал без собеседника, а общение с Вульфom, видимо, доставляло ему удовольствие. Тем более что Вульф был умным, грамотным, начитанным человеком. Вот какую характеристику дает ему Пушкин: «Летом 1826 года я часто виделся с одним Дерптским студентом. Разговор его был прост и важен. Он имел обо всем затверженное понятие... Его занимали мысли и предметы, о которых я и не помышлял».

Согласитесь, что в устах Пушкина эта характеристика говорит о многом.

На стене — портрет Алексея Николаевича Вульфа в гусарском мундире. Окончив университет в Дерпте, он стал гусаром. В конце концов он вышел в отставку, проживал в Тригорском, ведя жизнь обыкновенного помещика. Похоронен в трехстах метрах отсюда на городище Воронич. Могила его сохранилась.

Слева от входа на стене висит еще один портрет Алексея Николаевича, уже в более

зрелом возрасте. Рядом — портрет однокашника Вульфа, поэта Николая Михайловича Языкова. Но он так и не удосужился окончить университет, предпочитая пиво и дуэли учебе.

Здесь же — гравюра с видом Дерптского университета.

Они сошлись. Пушкин нередко сживал в кресле за столом, подобном тому, что находится сейчас в этой комнате. Стол же, который стоял здесь в Пушкинское время, — сейчас в кабинете Пушкина, в Михайловском.

Беседы Пушкина и Вульфа во многом напоминали беседы Онегина и Ленского.

Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Времен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду —
Все подвергалось их суду.

Не случайно в старинном шкапе выставлена книга из библиотеки Тригорского — серьезный философский трактат Фихте «Назначение человека».

Здесь же — шахматный столик. Пушкин — искусный шахматист, в его библиотеке даже была книга одного из известнейших шахматистов того времени Петрова «Искусство шахматной игры».

Можно вспомнить забавную строчку из «Онегина»:

И Ленский пешкою ладью
Берет в рассеянье свою...

Рядом — под красным сукном ломберный столик. Обычно ломберные столики зеленого цвета. Иногда, правда, встречались красного, бордового, но крайне редко.

Здесь же можно увидеть карты тех времен. Вспомним в «Пиковой даме»:

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;

Гнули — Бог их прости! —
От пятидесяти
На сто.
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

В Пушкинское время карточные игры делились, грубо говоря, на две категории: азартные и коммерческие.

Азартные (шtos, фараон и другие) тем и хороши, что при игре никакого ума не надо — просто испытываешь «судьбы завет: на лево ляжет ли валет?» То есть, повезло — не повезло, Орел — решка, чет — нечет. Если вы помните, в «Пиковой даме» Германн просто «обдернулся».

А коммерческие игры (ломбер, бостон, вист) требовали, хоть и небольших, умственных затрат. Причем ставки в такой провинциальной среде были невелики — по копейке.

В календаре Прасковьи Александровны Осиповой можно встретить запись: «По висту мне Пушкин должен: 1 рубль 45 копеек, я ему — 15 копеек. Еще, он мне — 1 рубль 50 копеек, я ему — 15 копеек. Еще, он мне — 1 рубль 50 копеек, я ему — 15 копеек». С завидным постоянством Прасковья Александровна выигрывала у великого русского поэта полтора рубля, проигрывая вдесятеро меньше.

В этой комнате часто происходил торжественный ритуал приготовления ромовой жженки. По словам Пушкина, это

Напиток благородный
Слияние рома и вина,
Без примеси воды негодной,
Открытый в наши времена.

Рецептов приготовления жженки множество, но все сводится к одному: это должен быть крепкий, горячий напиток на ромовой основе с обязательным присутствием жженого сахара.

Обычно заваривала ромовую жженку се-

стра Алексея Николаевича Вульфа, Евпраксия Николаевна, она же и разливала по стаканам. Алексей Николаевич в своем дневнике замечает: «Сестра моя Евпраксия заваривает всем нам после обеда жженку. Сестра чудесно ее заваривала, да и Пушкин, ее всегдашний и пламенный обожатель, любил, чтобы она заваривала».

И вот мы после обеда... сидим, беседуем и распиваем пунш. И что за речи несмолкаемые! Что за звонкий смех! Что за дивные стихи то Пушкина, то Языкова оживляли нашу дружескую пирушку».

Обычно Евпраксия Николаевна разливала жженку маленьким серебряным изящным черпачком (или ложкой), который сейчас находится в соседней комнате.

Комната Евпраксии Николаевны

Комната очень мала и хотелось бы сразу обратить внимание на мемориальные вещи. В горке с вещами можно видеть серебряную ложку, ту самую, которой разливала жженку Евпраксия Николаевна; шкатулку и чернильницу, подаренную ей Пушкиным на день рождения.

Ну а сам-то поэт, где мог приобрести такие вещи? Да, наверное, на «ярманке» в Пскове, в Опочке, в Новоржеве, в Святых Горах.

Тут же — слепок руки Евпраксии Николаевны. Рядом — типичный альбом уездной барышни. В такие альбомы записывались мысли, суждения, сентенции, каламбуры, анекдоты, афоризмы, стихи. Нередко оставляли и рисунки. С разрешения или по просьбе хозяйки могли появиться записи друзей и знакомых. Вот как Пушкин характеризует альбом уездной барышни (в романе в стихах «Евгений Онегин»):

Конечно, вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом,
Тут непременно вы найдете
Два сердца, факел и цветки;
Тут, верно, клятвы вы прочтете
В любви до гробовой доски.

Какой-нибудь пиит армейский
Тут подмахнул стишок злодейский,
В такой альбом, мои друзья,
Признаться, рад писать и я,
Уверен будучи душою,
Что всякий мой несвязный вздор
Заслужит благосклонный взор,
И что потом с улыбкой злою
Не станут важно разбирать,
Остро иль нет я мог соврать.

В альбом Зизи Пушкин записал очень светлое жизнерадостное стихотворение:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смиришь:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

У окна — старинные господские пальцы. Если в романе «Евгений Онегин» Татьяна пальчиком на стекле пишет «заветный вензель О да Е», то здесь вышито на холсте «А.П.»

Евпраксия Николаевна любила Пушкина и вышла замуж лишь после того, как получила известие о женитьбе поэта на красавице Наталье Гончаровой. Она вышла за барона Бориса Александровича Вревского, внебрачного сына «бриллиантового» князя Александра Куракина. Проживала неподалеку отсюда, в 15 верстах, за Соротью в имении Голубово. Там же и похоронена.

После замужества и собственной женитьбы Пушкин встречался с баронессой Вревской дважды: в 1835 году, видел ее и в 1836, когда приезжал в Михайловское хоронить мать. Своей жене — а Наталья Николаевна была весьма ревнивая особа — он писал: «Евпраксия все та же милая и добрая бабенка, но толста, как Мефодий, наш Псковский архиерей».

По другую сторону двери — портрет Евпраксии Николаевны, здесь она уже далеко не тростинка.

Комната Евпраксии Николаевны — обыч-

ная комната уездной барышни Пушкинского времени. Вспоминается замечательный отзыв Пушкина об уездной барышне: «Те из моих читателей, которые не жила в деревнях, и вообразить себе не могут, что за прелесть эти уездные барышни. Воспитанные на свежем воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знания света и жизни черпают из книжек. Уединение, свобода, тишина рано в них развивают чувства, недоступные нашим рассеянными красавицам. Для уездной барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город предполагается эпохой в жизни, а посещение гостя оставляет тайное и вечное воспоминание». Эти замечательные и теплые строки из повести Пушкина «Барышня-крестьянка».

Следующая комната — гостиная.

Гостиная

В этой довольно большой комнате звучали стихи Пушкина, Дельвига, Языкова, Вяземского. Здесь много книг, картин. Кто знает, может быть, эту комнату и имел в виду поэт, когда характеризовал Тригорский дом как «приют, сияньем муз одетый».

В центре — старинный рояль марки «Тышлер». Точно такой же стоял здесь в Пушкинское время. А следы того инструмента теряются в Святых Горах в 1918 году. Инструмент, сейчас стоящий в Тригорском, — редкий, их всего два в России: один здесь, другой в Москве.

На рояле чудесно играла Александрина Осипова, «ее воистину можно было заслушаться». Пушкин, в стихотворении «Признание», адресованном Алине, вспоминал: «И путешествие в Опочку и фортепьяно вечером»... Здесь же — ноты тех времен — Глинка. В Тригорском был культ композитора Михаила Глинки.

Здесь для Пушкина пела как-то Анна Петровна Керн баркаролу венецианскую на слова слепого поэта Ивана Козлова:

Ночь весенняя дышала
Светло южною красой,

Тихо Брента проплывала,
Серебримая луной.

Пушкин писал в Петербург другу своему Плетневу: «Скажи от меня Козлову, что недавно посетила наш край одна прелесть, которая небесно поет его «Венецианскую ночь» на голос гондольерского речитатива — я обещал известить о том милого вдохновенного слепца. Жаль, что он не увидит ее, но пусть вообразит себе красоту и задумчивость — по крайней мере, дай Бог ему ее слышать».

Для Анны Керн Пушкин здесь читает свою поэму «Цыганы». Он неохотно читает свои большие произведения простой непосвященной публике, но для Аннеты Керн делает исключения. Позже она вспоминала: «Однажды он явился в Тригорское с большой черной тетрадью, на полях которой были нарисованы ножки и головки, и сказал, что принес ее для меня. Вскоре мы расселись вокруг него, и он прочитал нам своих «Цыган». Я была в упоении, как от текучих стихов его поэмы, так и от его голоса. Такого мелодического, что я истаявала от наслаждения. Он имел голос певучий и музыкальный, и, как у Овидия в поэме «Цыганы»: «И голос, шуму волн подобный».

Обстановка дома в Тригорском побогаче, нежели в Михайловском. Нужно учесть важное обстоятельство — семья Прасковьи Александровны постоянно жила в деревне. Не как в Михайловском, куда родители Пушкина приезжали лишь на лето, да и то не на каждое. Отсюда и комфорт, уют.

Шкафы с книгами почти в каждой комнате — библиотекой Тригорского охотно пользовался Пушкин.

Некоторые из представленных картин висели здесь и в пушкинское время. На стене картина Морланда — фламандская школа, XVIII век. Типичные незатейливые фламандские сюжеты: кормление свиней, кормление лошадей. Маленькое полотно — «Искушение святого Антония» — распространенный сюжет: бесы, бесенята, всякая нечисть, искушают праведника. Существует легенда, что Пушкин, вспоминая эту картину, навел чертей в сон Татьяны.

Татьяне Лариной приснился кошмарный сон:

Сидят чудовища кругом:
 Один в рогах с собачьей мордой,
 Другой с петушьей головой,
 Здесь ведьма с козьей бородой,
 Тут остов чопорный и гордый,
 Там карла с хвостиком, а вот
 Полужуравль и полукот.

Картина очень стара, потемнела от времени, трудно разобрать — придется верить на слово, что у Пушкина именно так.

Портреты: около окна — портрет дамы в зеленом. Это дочь Анны Петровны Керн — Екатерина Ермолаевна, в замужестве Шокальская. По преданию, именно Екатерине Ермолаевне великий русский композитор Глинка посвятил романс: «Я помню чудное мгновенье». Воистину удивительно: два гениальных произведения адресованы матери (стихи) и дочери (музыка).

Под этим портретом — портрет первого мужа Аннеты Керн — бригадный генерал Ермолай Федорович Керн.

Совсем молоденькую Аннету Полторацкую выдали замуж против ее воли за человека грубого, ограниченного солдафона, к тому же, старше ее на 35 лет. Хотя... Портрет Ермолая Керна, писанный художником Доу, находится в военной галерее героев Отечественной войны 1812 года. Она не любила Керна и после его смерти вышла замуж за своего дальнего родственника Маркова-Виноградского. Он-то как раз был моложе ее на 15 лет. Жила хоть и трудно, но счастливо. Умерла в 1880 году, похоронена близ Торжка — погост Прутня.

Здесь же два женских портрета: вверху — свояченица Пушкина Александрина Гончарова — чудо, как хороша! Под ней — Наталья Николаевна Пушкина.

Наталья Николаевна с сестрой и детьми бывала в Тригорском, когда приезжала в Михайловское летом 1841 года. Надо сказать, что первоначально обитатели Тригорского встретили ее довольно настороженно, считая виновницей гибели Пушкина. Но в настоящее время известен ряд документов, которые проливают совершенно другой свет на эту загадочную, до сих пор непонятную историю. Сейчас и российская, и советская,

и зарубежная пушкинистика реабилитирует Наталью Николаевну, хотя она в этом нимало не нуждается.

Версия о виновности Натальи Николаевны возникла сразу же после гибели поэта: куда удобнее было свести дело к заурядному любовному треугольнику. На самом деле все гораздо сложнее, неоднозначнее, трагичнее. Вся эта светская сволочь, чернь, дрянь давила на Пушкина, и, возможно, он рано или поздно все равно бы погиб, если не от руки Дантеса, то от кого-то другого.

Когда на Кавказе в 1841 году погиб Михаил Лермонтов, Вяземский просто возопил: «Как, однако, метко стреляют на Руси в поэтов».

Такова, видимо, судьба поэта в России, судьба гения в России.

Комната Прасковьи Александровны Осиповой

Комната человека, которой очень много сделал, чтобы Пушкин оттаивал здесь от ожесточения «бурь самовластья», забывал горестные чувства ссылочного изгнанника.

К сожалению, до нас не дошло достоверного портрета Прасковьи Александровны, на стене в ее комнате — предполагаемый портрет. По одной из атрибуций — это портрет Елизаветы Михайловны Хитрово, дочери Михаила Илларионовича Кутузова, страстной почитательницы таланта Пушкина. Да и не только почитательницы — по многочисленным источникам, она его любила.

Но некоторые вещи, то, что мы называем мемории, — сохранились: рабочий столик для рукоделья, кресло, бювар.

Черты жизни Прасковьи Александровны во многом напоминали черты жизни старушки Лариной. Так же, как и старушку Ларину, «Не спросясь... девицу повезли к венцу». Но вскоре «привычка усладила горе», и она принялась заправлять в своем хозяйстве, найдя себя в этом занятии. Вспомним хрестоматийные строки:

Она езжала по работам,
 Солила на зиму грибы,

Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам...

Но Прасковья Александровна далеко не только «солила на зиму грибы». Это была умная, начитанная женщина, вела переписку с известными русскими литераторами. Среди ее родственников были декабристы Лунин, Муравьевы, Муравьевы-Апостолы.

Сергей Иванович Муравьев-Апостол, погибший на эшафоте 13 июля 1826 года, приходился троюродным братом Прасковье Александровне. И к Пушкину эта совсем не простая женщина, самостоятельная, деловая, относилась с трогательной любовью, пытаясь скрасить его печальный деревенский досуг. Например, она часто присылала цветы из Тригорского в Михайловское. Когда семья Прасковьи Александровны была в Риге, Пушкин ей писал: «Благодаря вам, у меня на окне всегда свежие цветы».

И еще крохотный штрих: за несколько дней до гибели Пушкина она отправляет в Петербург посылку. Представьте, из далекого захолустного Тригорского тащится эта посылка на перекладных, за сотни верст, в блестящий Петербург... А в ней было только любимое Пушкиным крыжовенное варенье.

Она переписывается с поэтом, когда ссылка заканчивается, и тот покидает Михайловское. В одном из писем она сравнивает себя со старым скрягою, который дрожит над грудями накопленного золота: так она дрожала над письмами Пушкина. В одном из ее писем: «Я забываю о времени, беседуя с вами, любезный сын моего сердца. Если бы у меня было столько чернил, сколько воды в море, а лист бумаги величиной с небо — всего этого не хватило бы, чтобы описать мою дружбу к вам».

В декабре 1835 года Пушкин пишет в Тригорское: «Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с моего собственного положения, убеждения и проч. Право, только дружбу мою к вам и к вашему семейству нахожу я в душе моей такою же, всегда полной и нераздельной». Через год и полтора месяца после этого письма Пушкина не станет.

Письма поэта Прасковьи Александровны хранила в шкатулке, на внутренней стороне

крышки которой написано ее собственной рукой: «Вот что осталось от щастливого времени моей жизни».

Шкатулка и сейчас находится в стеклянной витрине.

Когда Пушкина везли хоронить, дороги замело, траурный кортеж заблудился... И гроб с телом поэта побывал в Тригорском. И Машенька Осипова тогда воскликнула: «Какой случай! Точно Александр Сергеевич не мог лечь в могилу без того, чтобы не проститься с Тригорским и со всеми нами».

Сопровождал гроб с телом поэта из Петербурга Александр Иванович Тургенев. На стене его портрет. Рядом — портрет князя Петра Вяземского. Он бывал в Тригорском, когда приезжал в Михайловское осенью 1841 года. Интересно, что свою поездку Вяземский так озаглавил: «По следам Пушкина и Онегина».

Рядом в стеклянной витрине — посмертная маска, снятая с лица Пушкина скульптором Гальбергом (копия). Надо сказать, что одна из первых Пушкинских масок хранилась в Тригорском, но Прасковья Александровна подарила ее профессору Дерптского университета, крупнейшему словисту Розбергу. Сейчас та маска как ценнейший экспонат хранится в музее Тартуского университета.

Тургенев, похоронив Пушкина, писал в Петербург: «Мы предали земле земное на рассвете. Я провел около суток в Тригорском у вдовы Осиповой, где искренне оплакивают в Пушкине поэта и человека. Везу вам горсть сырой земли, сухих ветвей и только...»

Из письма барона Вревского отцу Пушкина, Сергею Львовичу: «Тригорское опустело. Душа его покинула».

Но Пушкин никогда не покинет этот дом. Он будет всегда возвращаться сюда в своих бессмертных строках:

О, где б судьба не назначала
Мне безыменный уголок,
Где б ни был я, куда б ни мчала
Она смиренный мой челнок,
Где поздний мир мне б ни сулила,
Где б ни ждала меня могила,

Везде, везде в душе моей
 Благословлю моих друзей.
 Нет, нет! Нигде не позабуду
 Их милых, ласковых речей;
 Вдали, один, среди людей
 Воображать я вечно буду
 Вас, тени прибережных ив,
 Вас, мир и сон тригорских нив.

И берег Сороти отлогий,
 И полосатые холмы,
 И в рощи скрытые дороги,
 И дом, где пировали мы, -
 Приют, сияньем муз одетый,
 Младым Языковым воспетый,
 Когда из капища наук
 Являлся он в наш сельский круг,
 И нимфу Сороти прославил,
 И огласил поля кругом
 Очаровательным стихом;
 Но там и я мой след оставил,
 Там ветру в дар на темну ель
 Повесил звонкую свирель.

(«Евгений Онегин» —
 строки, не вошедшие в основной текст)

Парк

Тригорский парк — яркий образец паркового искусства конца XVIII века. Он был заложен еще при отце Прасковьи Александровны, Александре Максимовиче Вындомском, и спланирован в модной для тех лет манере — в «английском вкусе» (стиле). Иногда этот парк в пушкинистике называют «Онегинским».

И первое место по ходу туристской тропы — «скамья Онегина».

Место чрезвычайно живописное, находится на склоне Тригорского холма, под которым течет Сороть, над ней склоняются неопишуемой красоты липы. С легкой руки Тригорских барышень его и стали называть «скамья Онегина» или «Диван Онегина». Тригорские барышни считали, что именно это место описал Пушкин в знаменитой сцене свиданья Татьяны и Онегина. Они, совершенно всерьез, считали себя прототипами героев романа. Якобы Анна Вульф —

это Татьяна Ларина, Ольга Ларина — это Евпраксия Вульф, Ленский — Алексей Николаевич, старушка Ларина — сама Прасковья Александровна. И любопытно, что в романе старушку Ларину тоже звали Прасковья — внимательно прочитайте строки седьмой главы.

Разумеется, это преувеличение. Образы романа, безусловно, собирательные, типические. Многие барышни того времени не отказались бы быть прототипом Татьяны Лариной. Тригорские барышни очень внимательно читали роман, очень пристрастно, пытались отыскать какие-то реалии, совпадения. Они решили, что именно сюда прибежала взволнованная Татьяна Ларина.

Проследим и мы ее путь:

... Ах — и легче тени
 Татьяна прыг в другие сени,
 С крыльца на двор и прямо в сад;
 Летит, летит; взглянуть назад
 Не смеет; мигом оббежала
 Куртины, мостики, лужок,
 Аллею к озеру, лесок,
 Кусты, сирень переломала,
 По цветникам летя к ручью
 И задыхаясь на скамью
 Упала...

Вот сюда-то и пришел Евгений Онегин, здесь и состоялось их знаменитое свиданье:

...Вы ко мне писали,
 Не отпирайтесь. Я прочел
 Души доверчивой признание,
 Любви невинной излишнее...

Вот так с легкой руки Тригорских барышень это место и вошло в историю как «Скамья Онегина».

Здесь очень красиво. Любил здесь бывать и Пушкин. А Тригорские барышни специально приходили сюда в третьем часу полудни. Издалека было видно, как со стороны Михайловских рощ, верхом на простой крестьянской лошаденке спешит к ним Александр Пушкин. А Языкову запомнилось:

И три горы, и дом красивый,
 И светлой Сороти извивы
 Златого месяца в огне,
 И те отлогости, те нивы,

Из-за которых вдалеке
 На вороном аргамаке
 Заморской шляпою покрытый,
 Спеша в Тригорское, один,
 Вольтер и Гете, и Расин —
 Являлся Пушкин знаменитый.

Комментируя этот стих Языкова, скептический Алексей Николаевич Вульф отметил, что «Языкова тут повело. Какой тут вороной аргамак? Клячи были у Пушкиных, клячи»!

Липы, находящиеся здесь, — очень старые, подходить к скамье Онегина не рекомендуется. Сороть примерно в двух верстах отсюда впадает в реку Великую.

А нас впереди ждет Тригорская банька.

Банька

Недалеко от скамьи Онегина — банька. В этой бане не раз приходилось... ночевать Пушкину.

Когда приехал гостить в Тригорское Николай Михайлович Языков, выяснилось, что для него не оказалось комнаты в доме, и Прасковья Александровна поселила его в бане. Сюда к нему приходил Пушкин, здесь они читали стихи, пили ромовую жженку. По преданию, здесь Пушкин прочитал свою знаменитую «Вакхическую песню».

Баня, как баня. В половине, обращенной к Сороти — сама баня, мыльня, а в другой половине, с окнами, — горница.

По дорожке, ведущей от бани к Сороти, можно придти к месту, где была купальня Осиповых. Не раз купался там и Пушкин. Можно представить, какая шумная, веселая компания собиралась здесь когда-то. Звучал смех, стихи, варилась жженка...

А наша дорожка поворачивает, направляясь в сторону зеленого зала.

Зеленый зал

Травяной прямоугольник обрамляют вековые и более молодые липы. Здесь Тригорская молодежь забавлялась танцами под

музыку бродячих шарманщиков, играли в шарады, в прятки. Пушкин очень любил посмеяться, повеселиться, и многие завидовали его чудесному заразительному смеху.

Замечательный русский поэт, славянофил Алексей Хомяков сказал: «Смех Пушкина производит впечатление такое же чарующее, как и его стихи». А знаменитый Карл Брюллов — художник, автор монументального полотна «Последний день Помпеи», — со своим виденьем выразился несколько иначе: «Счастливцев Пушкин! Смеется так, словно все кишки видны».

До сих пор в конце старинной, чудесной липовой аллеи, примыкающей с юга к зеленому залу, растет барбарисовый куст, куда, по воспоминаниям, прыгнул Пушкин да на силу выбрался.

Будьте осторожны и вы.

Пруды

Непременной принадлежностью парков конца XVIII начала XIX веков являются пруды. В Михайловском, напомним, шесть прудов, в Тригорском четыре.

Один из них, находящийся возле дома, называется непритязательно — фабричный пруд (вспомним, что хозяева Тригорского переехали на время ремонта в пустующее здание полотняной фабрики да так в нем и остались). За зеленым залом — средний. Ближе к баньке — нижний или банный пруд. А выше среднего, за плотиной — верхний пруд. Такие простые, незатейливые названия. И верхний, и средний, и нижний пруды сообщаются между собой. И, когда от дождей они переполняются, вода из одного стекает во второй, из второго — в третий, в конце концов — в Сороть. То есть, вода в прудах Тригорского парка существует на трех уровнях.

Пруды придают особую красоту, задумчивость, лиричность пейзажу.

А на нашем пути еще один лирический объект.

Ель-шатер

На этом месте росла Пушкинская ель — в Тригорском ее звали «Ель-шатер». Но старая Пушкинская елка погибла в 1965 году из-за многочисленных ран, которые ей нанесла война.

В строках, не вошедших в канонический текст, где Татьяна читает азбучным порядком слова:

Бор, буря, дом, мука, метель,
Медведь, мосток, женитьба, ель,
Шатер, шалаш...

Как видите, у Пушкина, может быть, произвольно после слова «ель» появилось слово «шатер». Хотя, если читать азбучным порядком, за буквой «е» достаточно других букв.

И в уже упомянутых строчках нам видится образ таинственной елки, породнившейся с музой Пушкина:

Там, ветру в дар, на темну ель
Повесил звонкую свирель...

Эта Пушкинская поэтическая свирель звучит в Тригорском и сейчас.

Солнечные часы

В парках конца XVIII начала XIX веков часто устраивали разного рода парковые затеи. Одна из таких затей — солнечные часы. Часы весьма своеобразны, их не так уж и много в усадьбах. Среди большого дернового круга стоит шест (гноман), тень которого и показывала время. Угол наклона шеста соответствует широте, на которой мы находимся. Куда устремлено острие — полдень, 12 часов. Цветочные полоски — циферблат.

Чтобы определить время, показанное этими часами сейчас, нужно делать коррекцию на два часа: один час — декретное время, введенное после революции, еще один час — летнее время.

Так, если реальное время 12, то тень от

шеста показывает на цифру 10. Правда, зимой, когда цветочного циферблата нет, приходится доверяться собственной интуиции.

Дуб уединенный

А дорожка, ведущая от солнечных часов на юг (полуденная дорожка), приводит еще к одной парковой затее — дубу уединенному. Это классический дуб на пригорке. Дуб уединенный очень живописен.

В 1828 году Пушкин писал:

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет он век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Действительно, многих пережил этот дуб, хотя данные о его возрасте у разных исследователей отличны: от 200 до 400 лет.

Традиция иногда связывает этот дуб с дубом «у лукоморья».

Действительно, всем хорош. Стоит один, мощный, раскидистый, на возвышенном месте. Но вот ведь незадача — лукоморья нет. Сорочь далековата. Правда, рядом пруд, но он совсем невелик. Впрочем, это не важно.

На «Дубе уединенном» Тригорский парк заканчивается, переходит в сады, а односторонняя липовая аллея ведет к стоянке автобуса. Начало эта аллея берет с места, где когда-то при Пушкине росла «у»-образная береза, которую впоследствии стали называть «береза-седло». По преданию, Пушкин в дупло этой березы положил монетку (вспомним аналогичный случай в «Дубровском») в знак того, что не забудет Тригорское.

Но и вдали, в краю чужом,
Я буду мыслюю всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, под холмом,
В саду, под сенью лип домашней.

Так до сих пор он здесь и бродит...

(Окончание в следующем номере)

Анатолий ГОРБУНОВ (г. Иркутск)

Лауреат Всесоюзного литературного конкурса им. Н. Островского с вручением медали (за книгу стихов «Чудница», 1975), Всероссийского конкурса, посвящённого 200-летию со дня рождения Г.-Х. Андерсена (грамота Королевского посольства Дании и Фонда «НСА-2005»), премии Международного конкурса детской и юношеской книги им. А. Н. Толстого.

Член Союза писателей России.

Игрушки

Быль

Мастер, Трудный, Смешила и Продавец — сорокалетние мужики. С детства живут в одном околотке. Мастер и Трудный кормятся тайгой. Смешила ищачит на заводе. Продавец — свободный художник: торгует на набережной Ангары глиняными медведками, благодаря которым окончательно обнищал.

— Эх, набрать бы черники да продать... — горько вздохнул несчастный медвежатник. И подкатился к Мастеру и Трудному через покладистого Смешилу, тот и сам был радёшенек сходить хоть раз в жизни в серьёзную тайгу.

Попели-поплясали и вот уже бодро топают по чуть заметной тропке вдоль болтливой Поливанихи.

Продавец, часто перебирая паучьими ножками, тащился позади. Хитровато зыркал по сторонам глубоко посаженными глазками, запоминая путь, а кое-где и оставлял метки — надламывал веточки.

— Посажу на муравейник, — строго предупредил Мастер. — Ишь ты, пятнать вздумал...

Тот конфузливо кашлянул и сердито насупился. Смешила, обалдело оглядывая прибайкальскую тайгу, ахал от восторга и восклицал:

— Благодать несусветная! Дугной, полжизни пгосидел в бетонной клетке, бабу кагаулил.

Радовался, как ребёнок, юрким бурунду-

кам, счастливо жмурился и на все лады костерил пыльный кузнечный цех.

Перед водоразделом тайга посуровела, угрюмисто оцетинилась колючей шерстью сумрачных елей. Не знающие колота вековые кедры настороженно вглядывались жёлтыми зрачками в непрошенных гостей и, как бы припоминая что-то далёкое — страшное, испуганно вздрагивали: длинные иглы хвои на ветвях трепетали и поблескивали, обнажая сизые шишки. Там и сям вывороченные давней бурей, замшелые туши сосен потревоженными ящерами расползались в разные стороны, волоча по неприбранному полу тайги облезлые чешуйчатые хвосты. Ядовито пестрели мухоморы. От случайно раздавленных сапогами рыжих лисичек пахло свежей морковью. На каждом шагу попадались развороченные пни.

— Медведка жировал, — определил опытный Трудный. — Совсем свежо, цепки-то не просохли. Теперь держи ухо востро. Заломит — глазом не успеешь моргнуть...

Тащившийся позади Продавец прибавил ходу, обогнал Смешилу, Мастера и пристроился за Трудным.

— Тьфу, карлик с гробом, — выругался Мастер и с ухмылкой оглянулся на Смешилу, наступавшего на пятки. — Во, другой засуетился...

Перевалив через водораздел, артельщики вышли к истоку уже другой речки — Котику. Остановились передохнуть. Смыли пот с

лица, напились воды и закурили. Продавец, перепрыгнув через речку, отколупнул от красного ярка волглый комок глины. Помял.

— Хороша! На обратном пути наберу.

К шалашу, крытому еловым корьем, добрались на закате. Сбросили горбовики, блаженно распластались на прохладном с горьковатой сыринкой мху, раскинув руки. Молча уставились в пустое знойное небо, слушая, как в полные синего звона колодцы тальцов, срываясь с птичьих лапок голубичника, шлепалась пьяная ягода и по макушкам деревьев шелестело летящее время.

— Подъём, — нехотя нарушил сладкую тишину Трудный. И распорядился: — Мастер и я двинем в разведку, чтобы утром по оборышам не шариться. А вы, братва, заготовьте на ночь дров и сварите ужин.

— Одним брёвна ворочать, а другим баклуши бить? — заартачился Продавец.

— Хошь, ставь себе отдельный шалаш, — вежливо посоветовал Мастер. — Пойдём, Трудный...

Отошли чуть-чуть и затаились в папоротнике — послушать, о чём станут толковать попавшие первый раз в серьёзную тайгу артельщики.

Смешила:

— Не спогь с ними. Осегдятся и в шалаш не пустят.

— Под телогрейкой переночую, но упираться за них не буду, — отрезал Продавец. — Лучше медведку вылеплю. — Вынул из кармана кусок глины, прихваченный с красного ярка, и стал разминать.

— Ну погоди, — зловеще прошептал Мастер. — Будет тебе медведка. — И рявкнул.

У шалаша наступило гробовое молчание.

— Медведка пгипёгся... — наконец раздался робкий голос Смешила.

Торопливо затюкал топор, полетели щепки.

Довольно улыбаясь, разведчики отправились на поиски свежих куреньев черники. Вернулись они на табор в сумерки. Горел костёр, недалечко высилась гора дров.

— Ребята, мимо никто не пробегал? — тревожно спросил Мастер. — Вроде чей-то топот слышался?!

— Медведь приходил, — ответил присмиревший Продавец.

— Плохо дело, братва, — помрачнел Трудный и жадно заглянул в пустой котелок: — А где суп?

На скорую руку сварили ужин. Поели и мирно расселись вокруг костра. Само собой, разговор зашёл о медведке.

— Коварный и развратный зверь, я вам доложу, — нагонял страху Мастер. — Помнишь, Трудный, на Хамар-Дабане сморозину брали?

— Это когда медведка у тебя сапоги спёр? — с готовностью уточнил тот.

— Да-да! Так вот, затаборились около нас мужик и баба. Наповадили к ним по вечерам этот самый медведка в гости. Придёт, сядет у костра и пялится на бабу. Ходил, ходил — съел мужика и...

— Бабу?! — ужаснулся впечатлительный Смешила.

— Живая осталась. Надругался и слинял, попутно мои сапоги прихватил...

— Тише, братва! — Трудный вскочил, как ошпаренный, и прислушался.

— Ходит? — обречённо пролепетал Мастер.

— Ходит... Наворожили на свою голову...

Смешила проворно подбросил в костёр смолистых сучьев. Продавец подвинулся ближе к Мастеру и прошептал:

— Чего медведки больше всего боятся?

— Собачьего лая.

— Гав, гав, гав... — понеслось по распадкам.

К перетрусившему Продавцу тут же припарился Смешила. Казалось, звёздное небо вот-вот рухнет от дружного лая.

Мастер и Трудный, даваясь хохотом, забились в шалаш. Всякого повидали в тайге, но такого...

— Сами посередке устроились, а нас по бокам?! — гневно осудил охрипший Продавец бесстыдную выходку артельщиков.

— Аж тгясутся от стгах, — поддержал Смешила.

Бедолаги, напуганные рассказами о пакостях медведки, до рассвета поддерживали поочередно высокий костёр. При каждом шорохе размахивали горящими головешками

и лаяли. А медведка и вправду бродил во-круг табора, с любопытством наблюдая сквозь паутину ольшаника за чумазыми не-поседами.

Когда опасную тьму весело озарили бе-лые высверки берёз, они, радуясь, что оста-лись живы, растормошили заспавшихся хит-рецов.

— Всю ночь собаки снились, — пожало-вался Мастер, выползая из уютного шала-ша.

— И мне, — подпел Трудный.

Зелёная глушь, умытая обильной росой, сияла. Торжественно били в гулкие бараба-ны дятлы. В зарослях сытого лета, перекли-каясь, тонко свистели рябчики. Куренья, ещё вчера облюбванные разведчиками, были сплошь усыпаны крупной черникой. Забыв о медведке, артельщики бережно черпали её совками и аккуратно переливали в горбови-ки. К обеду затарились ягодой по самые крышки и потащились домой.

У красного ярка Продавец нагрёб в май-ку понравившейся глины и приторочил узел

поверх горбовика. Ноша гнула своего хозя-ина в три погибели, с хрустом выворачивала жидкие колени, мотала туда-сюда. До само-го тракта так и шёл зигзагами, но глину не бросил.

В благодарность за удачную ходку в тай-гу свободный художник пригласил артель-щиков к себе и преподнёс по медведке из новой глины.

— Как живой! — залюбовался на зверя Трудный.

— Похож! — бережно держа драгоценный подарок на широкой ладони, похвалил Сме-шила.

А вечно недовольный чем-нибудь Мастер оценивающе пощёлкал ногтем по игрушке и нагло забраковал:

— Глина плохая! Вот на Хамар-Дабане...

И все дружно расхохотались, даже гли-няные медведки.

Александр Рудь

Улыбнись!

О Поэте и Друге

В Крыму жил и работал поэт Александр Рудь. Не хочу говорить, что был. Он просто вышел. Но он и остался. В памяти тех, кто его знал, остался в своих книгах.

Для моей телепередачи про улицы Симферополя Саша написал много стихов. Ярких, острых, умных. И добрых. Потому что он был добрым человеком. Что даже странно для полковника милиции, каковым он являлся многие годы.

А уж каким он был поэтом!

Только вот не нравится мне слово — “был”!

В своей новой книге я знакомлю читателей со своими друзьями — веселыми, жизнерадостными, слегка сумасшедшими, но, главное, добрыми. На страницах книги я решил поместить и стихи Александра.



Юрий Портнов

Александр РУДЬ

МЫСЛИ ПРО УЛИЦЫ СИМФЕРОПОЛЯ

Улица Воровского

Имен великих колдовство
И ничего геройского,
Не убывает воровство
На улице Воровского.
При краже выломана дверь,
Разбой с кровопусканием,
И хочешь, верь или не верь,
Но дело все в названии.
Улица Большевицкая:
С Большевицкой воровски
Люки сняли варнаки.
Бьются там грузовики,
Где же вы, большевики?!

Улица Менделеева

Дмитрий Иваныч Менделеев,
На радость водочку взлелеяв,
Не смог придумать препарата,
Чтоб нас спасти от “самоката”.

Улица Горького

Как дурные привычки сломать?
Выпив с горя иль с радости горького,
Вспоминаем на Горького мать,
Только вот почему-то не Горького.

Улица Грибоедова

Никак не сгинет полутьма
В дебатах разнодумства,
В стране не горе от ума,
А радость от безумства,
И за бедой опять беда,
Глупец трубит победу,
Умы сбегают, кто куда:
Карету мне, карету!

Улица Гоголя

На Комендантской, ныне Гоголя,
Витрины “маркетов” расцветены,
И даже личико убогого
У Храма сытостью отмечено,
Карету Чичикову хочется
Поставить где-нибудь под арками,
Но тротуары и обочины
С утра забиты иномарками.

Улица Толстого

На улице графа Толстого
За век изменен интерьер,
В “сузуки” Наташа Ростова,
Спешит к ней на “лексусе” Пьер.
У горисполкома теснина,
То мир у крыльца, то война,
И Маслова Екатерина
Уже на углу не одна.

Улица Клары Цеткин

Нам скороговорка про это наврала,
Ведь Цеткин у Маркса кларнета
не крала,
Карл тоже у Клары не взял
ни коралла,
Она, начитавшись его “Капитала”,
Всем женщинам праздник весны
даровала.

Улица Чапаева

Заспорили, кто проживает тут,
Ведь здесь нога Чапая не ступала,
За что ж тогда так улицу зовут,
Салгир не звался никогда Уралом.
Спор долгим был, всяк на своем стоял,
Он кончился, когда промолвил кто-то:
“Назвали нашу улицу, друзья,
В честь главного героя анекдотов!”

Проспект Кирова

Что такое парковка на Кирова?
Это — где захотелось водителю,
Там авто он свое зафиксировал,
Наплевавши на все запретители.
И пусть транспорт общественный,
личный
В пробках мается, счастья не зная,
И народ лексикон неприличный
Вспоминает, ГАИ проклиная.

Улица Некрасова

Здесь была мостовая булыжная,
Что Мазая, наверное, знала,
И сирень в палисадниках пышная
Раньше всех по весне расцветала.
Тут сейчас каждый офис при вензеле,
Ходит публика очень шикарная,
И живет кому в Крыму весело,
Знает бывшая Малобазарная.

Улица Козлова

На улицах в бензиновом угаре
Ни ночью не пройти,
ни светлым днем,
Я видел ДТП на тротуаре,
Два “мерседеса” встретились на нем.

Улица Серова

А когда Серов был в Симферополе,
Заходил, конечно, он в собор,
Купола свалили, камни пропили,
Но не вечны смута и разор.
Над воскресшим храмом кран
сутулится,
На лесах строители с утра,
Ну, а то, что небольшая улица —
Будет путь короче в новый храм.

Улица Дарвина

Сэр Дарвин Чарльз всю
жизнь корпел...
Но когда мир увидел,
Тогда лишь написать сумел
“Происхожденье видов”.
Не знал великий грамотей,
Что есть пути короче.
Он бы на улице своей
Свой труд быстрее закончил.

Улица Гончарова

На улице Ивана Гончарова
Цветут сады, пух с тополей летит
И баня знаменитая сурово
Который год небесный свод копит.
Здесь быт лишен помпезности
синдромов,
Дворы полны галдящей детворой,
Тут понимаешь, гражданин Обломов
Совсем не отрицательный герой.

Улица Шмидта

Петр Петрович, жизнь сурова,
Стали в памяти живей
Из-за Ильфа и Петрова
Трое ваших сыновей.
Вы в табличке на эмали,
А в проулке надпись есть,
Что вы здесь и не бывали,
Киса с Осей были здесь.

Улица Тургенева

Тургенева улица,
Рядом солидно —
Дворянские гнезда,
Обитель юристов.
Тургеневских девушек что-то
не видно,
Зато в изобилии здесь нигилистов,
Которые с видом немного манерным
Задумчиво топчут асфальт тротуаров.
Наверное, здесь такова атмосфера,
Здесь каждый прохожий
Немного Базаров.

Улица Маяковского

Он здесь ходил в 13-м году,
Стихи в театре нашенском горланил,
И по его я улице иду
В Горгаз платить за голубое пламя.
Суров колдобин, рытвин реализм,
И грязь на тротуарах беспокоит,
Ты извини, В. В., — социализм
Не удалось нам без тебя построить.

Улица Мичурина

Я по Симферополю фланировал,
И, все рынки к вечеру оббегав,
Понял, что Мичурин эмигрировал
В Турцию еще в 20-м веке.
Яблоки стамбульские, измирские,
Груши, сливы, персики синопские,
С ними рядом наши фрукты
крымские
И обличьем, и числом — сиротские.

ФОТОВЫСТАВКА ЖУРНАЛА

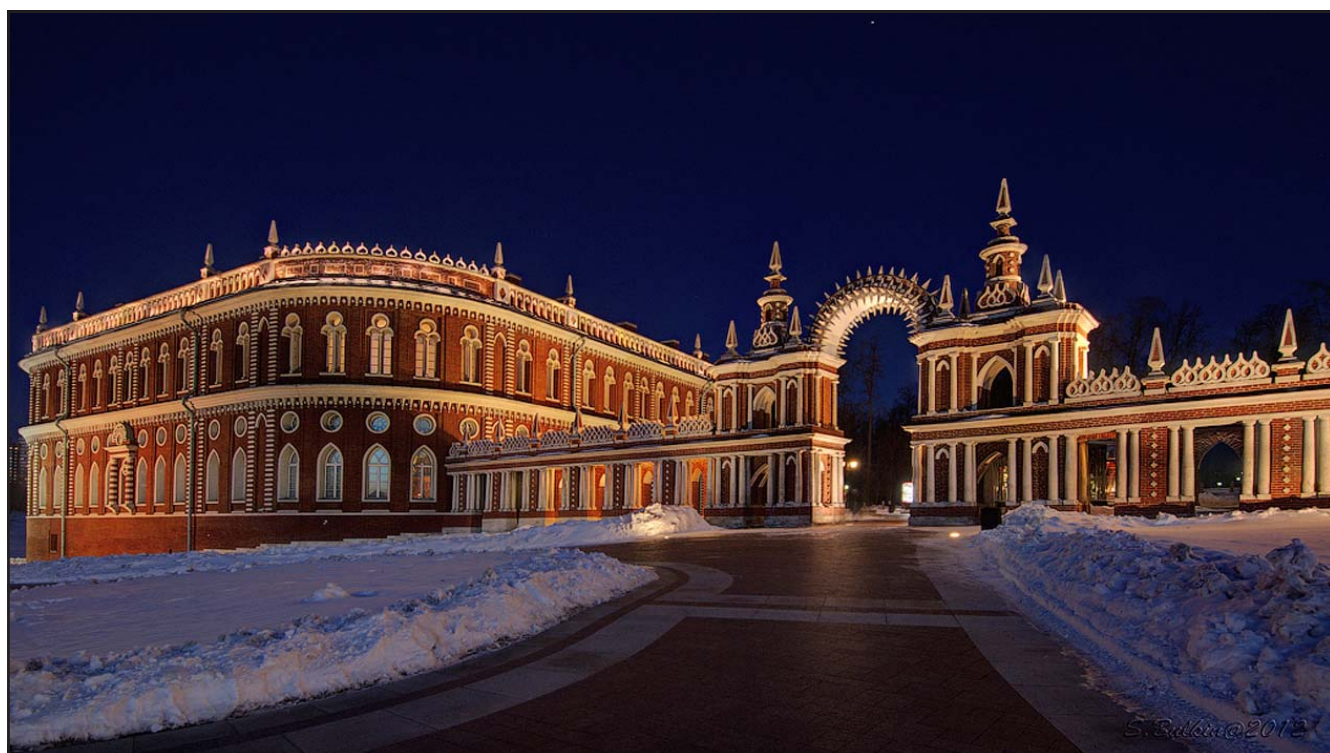


Булкин Сергей Николаевич родился 12 мая 1956 года в г. Быхове в семье военнослужащего. Полковник, отдавший службе Отечеству сорок лет. Службу проходил в Военно-Воздушных силах на различных командных должностях от воинской части до Центрального аппарата. Закончил Ворошиловградское училище штурманов и Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина. После окончания Академии Генерального штаба ВС РФ проходил службу на должностях в Совете министров обороны государств-участников СНГ, занимаясь вопросами национальной безопасности и всестороннего развития военного сотрудничества государств Содружества.

Фотографией увлекся четыре года назад. И это стало основным его хобби.



«Давай дружить?!.»
(Фото С. Булкина)



«Уж полночь близится...» (Фото С. Булкина)



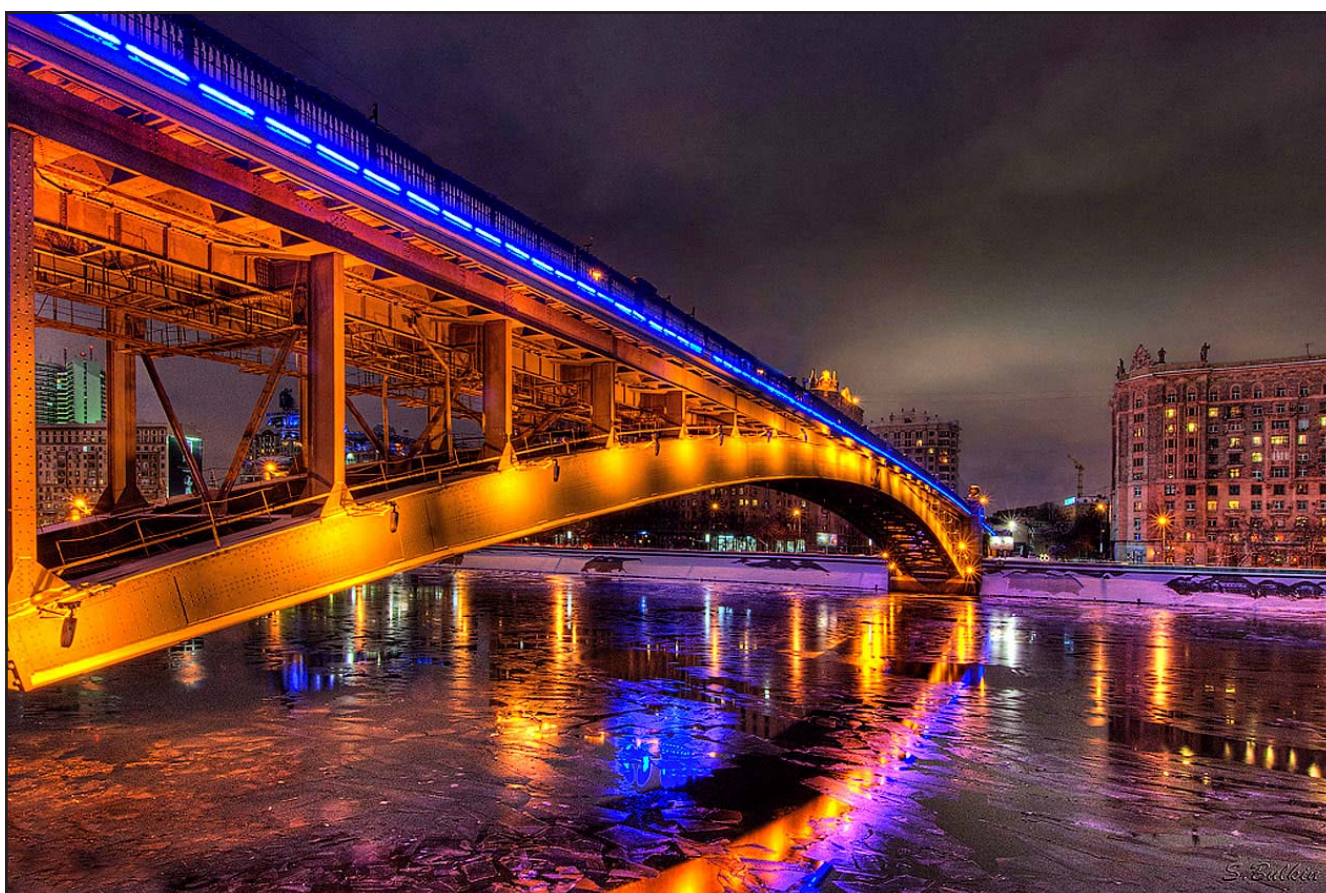
Дворик, каких много в южных городах...
(Фото С. Булкина)



Город, который уже есть...
(Фото С. Булкина)



Смеркалось... Дом на Котельнической. (Фото С. Булкина)



Коромысло. (Фото С. Булкина)